



О Л Д О С

ХАКСЛИ

*ВРЕМЯ ДОЛЖНО
ОСТАНОВИТЬСЯ*

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

Э К С К Л Ю З И В Н А Я К Л А С С И К А

Эксклюзивная классика (АСТ)

Олдос Хаксли

Время должно остановиться

«АСТ»

1944

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

Хаксли О. Л.

Время должно остановиться / О. Л. Хаксли — «АСТ»,
1944 — (Эксклюзивная классика (АСТ))

ISBN 978-5-17-105472-4

История семнадцатилетнего Себастьяна Барнака и троих людей, перевернувших его жизнь. Дядюшка Юстас, гедонист и бонвиван, научит юношу со вкусом наслаждаться земными радостями. Красивая и загадочная зрелая женщина Вероника Твейл станет его первой любовью. А другому дядюшке, мистика и искателю высшей истины Бруно, предстоит открыть Себастьяну, что в мире есть вещи куда важнее повседневной реальности... Каждый из этих героев несет свою идею и высказывает немало горьких и справедливых истин об устройстве человеческой души, общества и даже Вселенной. Сам Хаксли считал, что в этом романе ему удалось наиболее глубоко исследовать проблемы, встающие перед человеком XX века. Впервые на русском языке!

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-17-105472-4

© Хаксли О. Л., 1944
© АСТ, 1944

Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.	52
-----------------------------------	----

Олдос Хаксли

Время должно остановиться

Aldous Huxley
Time Must Have A Stop

© Aldous Huxley, 1944
© Перевод. И. Моничев, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017

* * *

*Но мысль – рабыня жизни, жизнь – забава
Для времени, а время – мира страж —
Должно найти когда-нибудь конец.*

У. Шекспир. Король Генрих IV¹

I

Себастьян Барнак вышел из читального зала публичной библиотеки и задержался в вестибюле, чтобы надеть свое поношенное пальто. Глядя на него, миссис Окэм почувствовала, как ее сердце пронзила сталь меча. Это маленькое, утонченное создание с ангельским личиком и светлыми вьющимися волосами было живым воплощением ее собственного, ее единственного, ее ушедшего милого сыночка.

Она заметила, что губы мальчика шевелились, пока он влезал в рукава пальто. Говорит сам с собой точно так же, как когда-то ее Фрэнки. Он повернулся и пошел к выходу мимо скамьи, на которой она сидела.

– Погода сегодня вечером промозглая, – сказала она громко, подчиняясь внезапно вспыхнувшему желанию ненадолго удержать этот живой призрак, повернуть воспоминание с острыми краями в своем израненном сердце.

Неожиданно выведенный из глубокой задумчивости Себастьян остановился, повернулся и несколько секунд непонимающе смотрел на нее. Затем до него дошел смысл этой по-матерински сочувственной улыбки. Взгляд его стал жестким. Такое с ним случалось и прежде. Женщина воспринимала его как одного из сладеньких детишек в колясках, которых всем им непременно хотелось погладить по головке. Надо бы проучить старую стерву! Но ему, как обычно, не хватило смелости и присутствия духа. И потому он лишь чуть заметно улыбнулся и сказал: да, вечер в самом деле выдался ненастным.

Миссис Окэм открыла сумочку и достала небольшую коробку из белого картона.

– Могу я тебя угостить?

Она протянула коробку к нему. Это было французское шоколадное печенье, любимое лакомство Фрэнки, впрочем, и ее тоже. Миссис Окэм питала слабость к сладостям.

Себастьян посмотрел на нее в нерешительности. Правильное произношение, одежда из твида, хотя и несколько бесформенная, хорошо подобрана и качественной выделки. Но

¹ Перевод М. Кузмина. – Здесь и далее примеч. пер.

сама женщина толстая и старая – лет сорока, не меньше, решил он. И колебался между искушением поставить это навязчивое существо на место и не менее острой тягой к вкуснейшим *langues de chat*². Она похожа на мопса, отметил он про себя, глядя на ее плоское и пухлое лицо. Розового бесшерстного мопса с плохой кожей на мордочке. После чего решил, что может принять «шоколадку», не жертвуя ни малой толикой собственного достоинства.

– Благодарю вас, – сказал Себастьян и одарил ее одной из тех полных очарования улыбок, которые на пожилых леди всегда действовали совершенно безотказно.

Быть семнадцатилетним, чувствовать, что обладаешь умом совершенно зрелого мужчины, а выглядеть подобием ангела делла Роббиа, которому не дашь и тринадцати, – какая абсурдная и унижительная участь! Но в прошлое Рождество он читал Ницше и знал, что должен Любить свою Судьбу. *Amor fati*³, но только с долей здорового цинизма. Если люди готовы платить, чтобы поглазеть на того, кто выглядит моложе своих лет, отчего не дать им такую возможность?

– Какая вкуснятина!

Он снова улыбнулся ей, и уголки его губ уже были коричневыми от шоколада. Меч в сердце миссис Окэм с мучительной болью провернулся еще раз.

– Возьми всю коробку, – сказала она. Ее голос дрожал, в глазах блеснули слезы.

– Нет, что вы, я не могу...

– Возьми, – настаивала она. – Возьми же.

И она буквально втиснула коробку ему в руку – руку Фрэнки.

– О, спасибо... – Как раз на это Себастьян и надеялся, даже рассчитывал. У него уже накопился опыт общения со старыми и сентиментальными дурочками.

– У меня тоже когда-то был сынок, – надтреснутым голосом сказала миссис Окэм. – Очень похожий на тебя. Те же волосы и глаза...

Слезы потекли по ее щекам. Она сняла очки и протерла их. Потом высморкалась, встала и поспешила в читальный зал. Себастьян смотрел ей вслед, пока она не скрылась за дверью. Внезапно на него накатило ужасное чувство вины и стыда. Он посмотрел на коробку в своей руке. Какой-то мальчик должен был умереть, чтобы он сейчас лакомился *langues de chat*: и если бы его собственная мать была жива, она достигла бы примерно тех же лет, что и это несчастное создание в очках. И если бы умер он сам, то она тоже стала бы несчастной и сентиментальной. Под влиянием импульса Себастьян едва не выбросил коробку, но сдержался. Нет, это глупость, какое-то нелепое суеверие. Он сунул коробку в карман и вышел в окутанные туманом сумерки.

«Миллионы и миллионы», – шептал он, и невообразимая масштабность зла, казалось, только возрастала при каждом повторе этой фразы. По всему миру миллионы и миллионы мужчин и женщин испытывали боль, миллионы умирали вот в эту самую секунду, миллионы оплакивали их с искаженными мукой лицами, как у этой старой карги, со слезами, струящимися по щекам. И еще миллионы голодных, миллионы испуганных, нездоровых и не находящихся умиротворения. Миллионы подвергались оскорблениям и побоям со стороны других миллионов – грубых и жестоких. И повсюду вонь отбросов, спиртного и давно не мытых тел; повсеместно все заражено тупостью и обезображено уродством. Ужас не исчезнет, даже если ты сам почувствуешь себя здоровым и счастливым, – ужас всегда рядом. За ближайшим углом или почти за каждой соседней дверью.

И когда Себастьян спускался по Хаверсток-Хилл, он чувствовал, как им полностью овладевает необъятная обезличенная тоска. Казалось, ничего больше не существовало, кроме смерти или нестерпимой боли.

² Кошачьи язычки (*фр.*).

³ Любовь к судьбе (*ит.*).

И тут ему вспомнились слова из Китса: «Огромная всемирная агония!» Огромная агония. Он напряг память, чтобы вспомнить другие строки. «Никто не доберется до таких вершин...» Как же там дальше?

Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему,
Но только тот, кого печалит вся Вселенной скорбь,
Кто горем тем проникся до глубин души, кому покоя нет...⁴

Как это верно! И наверняка Китс думал об этом холодным весенним вечером, спускаясь с холма в Хэмпстеде, так же, как сейчас сам Себастьян. Шел, останавливался, откашливался и думал о собственной смерти, как и всякий другой. Еле слышным шепотом Себастьян начал повторять строки:

Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему,
Но только тот...

Но, боже мой, как же ужасно звучали эти строчки вслух! Никто не доберется до таких вершин, вещала эта тень ему, но только тот, кого, кому... Разве он сам мог не слышать этих повторов? Впрочем, Китс часто допускал небрежности. И гениальность не уберегала его от порой жутких ляпов и дурного вкуса. В «Эндимионе» попадались места, от которых только и можно было содрогнуться. А если учесть, что все это еще и имело отношение к Греции...

Себастьян улыбнулся с сочувственной иронией. Наступит день, когда он всем покажет, что можно сотворить на основе греческой мифологии. А пока он мысленно вернулся к словам, которые пришли на ум в библиотеке, когда он читал книжку Тарна по истории эллинской цивилизации. «Не думай о сушеных фигах!» – так должна была начинаться строчка. Или: «Не думайте о высушенных фигах...» Но ведь чем так плохи сушеные фиги? Рабов, например, сушеными фруктами не кормили. Им доставались только никуда больше не годные отбросы. «Не думайте о сгнивших фигах». Вот как! И определение оказывалось на слог короче, что всегда хорошо.

Не думайте о сгнивших фигах, об унижениях побоев,
О стариках, что умереть боятся...

Нет, это невероятно плоско! Как ровная мостовая, укатанная паровым катком, как худшее из Вордсворта. А если так: «О стариках, которых смерть страшит»?

О стариках, которых смерть страшит,
О женщинах...

Он надолго задумался, как в двух словах передать гнетущую жизнь в гинеее. А потом из таинственного источника света и энергии, скрытого в его сознании, выступило превосходно подходящее сочетание: «О женщинах, что заперты по клеткам».

Себастьян не сдержал улыбки, когда воображение нарисовало ему эту картину – целый зоопарк из диких, не поддающихся приручению девиц, оглушительное карканье и щебет в просторном вольере для старых дев и вдовушек. Эти образы пригодятся для другой поэмы – той, в которой он сведет счеты со всем слабым полом. Но сейчас речь об Элладе – реальном историческом убожестве Греции, ее придуманной славе. Придуманной, конечно, когда речь

⁴ Дж. Китс. Падение Гипериона.

шла о народе в целом, но наверняка доступной для отдельной личности, и в первую очередь – для поэта. Однажды, хоть пока и не ясно как и где, Себастьян сумеет до этой славы дотянуться, в чем у него не возникало ни тени сомнения. А сейчас важно не выставить себя дураком. Следовало смирять ностальгическую страсть, добавляя к экспрессии чуть-чуть иронии, сдабривая вожделенный идеал щепоткой острой приправы абсурда. Совершенно забыв об умершем мальчике и о всемирной агонии, он угощался *langues de chat* из лежавшего в кармане запаса и с набитым ртом возобновил опьяняющий труд сочинителя.

Не думайте о сгнивших фигах, об унижениях побоев,
О стариках, которых смерть страшит, о женщинах, что заперты
по клеткам.

Но довольно истории. Теперь в ход пойдет фантазия.

И – круглый год – в июне...

Он помотал головой. «Круглый год» – словно на уроке географии недалекий директор описывает климат какого-нибудь Эквадора. «Хронический» или «застарелый» сами просились на замену. Возникавшие при этом ассоциации с варикозными венами и болтовней домработниц на кокни его порадовали.

В хроническом июне этих мест блаженных
Какие только Алквиады не отступали бороду Платона!

Мерзость! Здесь не место именам собственным. Быть может, «какие только мускулы стальные»? Нет. Не точно. И тут же, как манна небесная, подсказка: «Надменные тяжеловесы». Да, да – «надменные тяжеловесы наклонялись». Он даже рассмеялся вслух. Стоило заменить Платона на мудрость, и у него получилось:

В хроническом июне этих мест блаженных
Надменные тяжеловесы наклонялись над мудрости седую
бородой.

Себастьян несколько раз со вкусом повторил это двустиие. Настал черед противоположного пола.

Где-то рядом раздаются и звон струны, и пение флейт.

Он шел, наморщив лоб, недовольный собой. Эти взметнувшиеся фигуры вакханок, эти груди и ягодицы у Праксителя, эти танцовщицы на амфорах – как же дьявольски трудно понять и описать их! Сжать, чтобы выразить суть! Слепить из этих обольстительных образов один чувственный комок, чтобы затем в едином порыве выдавить из него полный бокал словесного сока: пьянящего и возбуждающего, терпкого и сладострастного. Легче сказать, чем исполнить. Но его губы снова шевелились.

– Где-то рядом, – прошептал он.

Где-то рядом раздаются и звон струны, и пенье флейт.
Там круг за кругом вихрь кружится танца упругих и пластичных
тел,
Отброшены последние покровы с манящих плотских лун!

Себастьян вздохнул и покачал головой. Еще не совсем то, что нужно, но временно придется удовлетвориться этим. Он не заметил, как дошел до угла. Отправиться сразу домой или добраться до Бэнтри-плейс, встретить Сьюзен и дать ей послушать новые стихи? Немного подумав, Себастьян избрал второй вариант и повернул направо. Ему захотелось аудитории и аплодисментов.

...упругих и пластичных тел,
Отброшены последние покровы с манящих плотских лун!

Но, быть может, вся вещь пока что слишком коротка? Да, будет неплохо вставить пару строф между этими пластичными телами и финалом, подобным сверканию пурпурных бенгальских огней. Покуситься даже на Пантеон, почему нет? Или взять что-то из Эсхила. Было бы занятно.

В сравнении с этим меркнут все трагедии,
Фальшивы те возвышенные речи, что исторгают в муках рты...

Но боже милостивый! Вот же те бенгальские огни, которые неудержимо и даже непрошено сами рвутся в его стихи.

И ежечасно, поражая взгляд, над островами в море гиацинтов
Открыта взору яростная похоть...

Нет, нет, нет. Слишком расплывчато, слишком бесплотно, абстрактно!

Быки и юноши, изогнутые шеи лебедей
И нежные соски грудей прелестных.
Какая торжествующая похоть,
Зажженная ярчайшим из огней...

Но «ярчайшим» не соответствовало замыслу. Это слово означало только само себя, и ничего более. Ему нужен был эпитет, который показывал не только интенсивность огня, но придавал бы ему святости, страстно хранимой веры даже в сексуальном экстазе, оставаясь поэтичным (и религиозным – каждому свое!) и возвышая действие над обыденным людским существованием.

Он вернулся к началу, в надежде с разбега по инерции преодолеть возникшее препятствие.

И ежечасно, поражая взгляд, над островами в море гиацинтов
Быки и юноши, изогнутые шеи лебедей
И нежные соски грудей прелестных.
Какая торжествующая похоть,
Зажженная... Зажженная...

Себастьян помедлил, и слово пришло.

Зажженная чистейшим из огней, от жара Истинного Света,
Когда в своей невинности святой сплетаются в совокупленье
Боги!

Но вот он уже свернул на Бэнтри-плейс, и, хотя окна пятого дома были закрыты и плотно занавешены, он мог слышать, как Сьюзен на уроке музыки играет мелодию Скарлатти, над которой билась всю зиму. Ему пришло в голову, что такая музыка, наверное, зазвучала, если бы пузырьки шампанского могли в строгом ритме всплывать к поверхности и лопаться с сухим и пикантным звуком, каким было само вино, из глубин которого они поднимались. Сравнение так понравилось Себастьяну, что он напрочь забыл, что еще никогда в жизни не пробовал шампанского. Нажимая на кнопку звонка, он завершил мысль, вообразив музыку даже более сухой и пикантной, как если бы ее исполняли на клавесине, а не на приторном «Блютнере» старого Пфайффера.

Сьюзен заметила его поверх рояля, стоило ему войти в музыкальный класс – эти красиво очерченные, чуть приоткрытые губы и мягкие волосы, в которые ей всегда хотелось запустить пальцы (чего он не позволял), сейчас растрепанные ветром, беспорядочные, но такие привлекательные бледные завитки. Как мило, что он отклонился от своего маршрута и зашел за ней! Она чуть заметно, но радостно улыбнулась ему и при этом заметила в его волосах небольшие капельки воды, подобные восхитительной росе на капустных листьях – только у него они были еще меньше и лежали словно на шелковой подкладке. Если прикоснуться, они наверняка окажутся холодными как лед. Стоило ей подумать об этом, как левая рука стала попадать не по тем клавишам.

Престарелый профессор Пфайффер, который ходил из угла в угол зверем в клетке – небольшой, но раскормленный медведь в мятых брюках и с усами моржа, – вынул из угла рта сильно зажеванный окурок сигары и воскликнул по-немецки:

– Musik, musik!

Сделав над собой усилие, Сьюзен выбросила из головы росу в шелковистых кудрях, подхватила сонату заново с того места, где сбилась, и продолжила играть. К своей немалой досаде, она почувствовала, что покраснела.

Алые щеки и волосы, рыжеватые почти до красноты. Свекла и морковь, безжалостно отметил Себастьян; не нравилось ему и как становились видны ее десны, если Сьюзен расплывалась в улыбке, – впечатление чересчур «анатомическое».

Взяв заключительный аккорд, Сьюзен опустила руки на колени в ожидании вердикта учителя. Он последовал громоподобно сквозь облако сигарного дыма.

– Хорош, хорош, хорош, – и профессор Пфайффер хлопнул ее по плечу, словно погонял запряженную в коляску пони. Потом он повернулся к Себастьяну: – Унд здес у нас маленький Ариэль! Oder, наверное, дер маленький Пак⁵ – нет?

И он подмигнул щелкой между своими тяжелыми ресницами, что, как ему представлялось, и выглядело забавно, и содержало толику свойственной людям культуры тонкой иронии.

Маленький Ариэль, маленький Пак... Дважды за день, и на этот раз без малейшей причины – только потому, что старый пузан считал себя остроумцем.

– Не будучи немцем, – язвительно отозвался Себастьян, – я, разумеется, не читал Шекспира и ничем не могу вам помочь.

– Дер Пак, дер Пак! – прогрохотал профессор Пфайффер и рассмеялся так бурно, что вызвал приступ своего извечного бронхита и закашлялся.

На лице Сьюзен отразилась неподдельная тревога. Это могло привести к бог весть каким последствиям. Она соскочила с винтового стульчика у рояля и, как только взрывы жутко бурлящего мокротой кашля профессора Пфайффера пошли на убыль, объявила, что им надо немедленно уходить. Ее мама просила сегодня непременно быть дома пораньше.

⁵ Персонажи произведений У. Шекспира «Буря» и «Сон в летнюю ночь».

Профессор Пфайффер утер с глаз слезы, снова зажал в зубах то, что оставалось еще от сигары, пару раз похлопал Сьюзен по плечу все тем же жестом погонщика и попросил ни в коем случае не забыть, что он сказал ей по поводу трелей для пальцев правой руки. Затем, взяв со стола отделанную вставками из кедра серебряную шкатулку для сигар, которую благодарные ученики подарили ему на последний день рождения, он повернулся к Себастьяну, положил свою квадратную лапищу на плечо мальчику, а другой сунул ему сигары прямо под нос.

– Возьми одна, – сказал он вкрадчиво. – Возьми одна отличны «гавана». Мягкая, und garantiert⁶, от нее не тошнить даже молошный поросенок.

– О, замолчите! – выкрикнул Себастьян в ярости, уже граничившей со слезами, а потом выскользнул из-под руки своего мучителя и выбежал из комнаты. Сьюзен чуть задержалась в нерешительности и тоже, не вымолвив больше ни слова, поспешила вон из класса. Профессор Пфайффер снова вынул изо рта огрызок сигары и бросил ей вслед:

– Быстро! Быстро! Наш маленький гениус сейчас плакать.

Дверь захлопнулась. Пренебрегая своим бронхитом, профессор Пфайффер снова разрился громким смехом. Два месяца назад «маленький гениус» взял одну из сигар и, пока Сьюзен старательно наигрывала «Лунную сонату», попыхивал минут пять. А затем последовал отчаянный рывок в сторону туалета, но добежать туда вовремя не удалось. Профессор Пфайффер обладал здоровым средневековым чувством юмора. Для него лужа блевотины, оставшаяся на лестничной площадке, была едва ли не самой смешной шуткой со времен «Фауста».

II

Он шел так быстро, что Сьюзен пришлось бежать, но все равно она догнала его уже у второго фонарного столба. Взяв его за руку, с нежностью пожала ее.

– Себастьян!

– Отцепись! – сказал он резко и стряхнул ее пальцы с себя. Ему не хотелось, чтобы кто-то успокаивал или утешал его.

Ну вот! Она снова сделала что-то не так. Но почему он до такой чудовищной степени чувствителен? И какого дьявола нужно вообще обращать внимание на глупости старого козла Пфайффи?

Какое-то время они просто молча шли рядом. Первой заговорила она:

– Ты написал сегодня новые стихи?

– Нет, – соврал Себастьян.

Сплетение богов в совокуплении потеряло весь свой жар и обратилось в пепел. После случившегося от самой мысли, что ему надо читать ей теперь эти строки, тошнило, как почти выворачивало наизнанку при виде вчерашних объедков и мысли о том, каковы они теперь на вкус.

Снова наступило молчание. Сейчас короткие каникулы, размышляла Сьюзен, и, поскольку приближались экзамены, в футбол никто не играл. Неужели он провел часть дня у этой мерзкой стервы Эсдейл? Под следующим фонарем она искоса посмотрела на него. Да, никаких сомнений. У него под глазами пролегли синяки. Свиньи! Ее внезапно переполнила злость – раздражение, порожденное ревностью, тем более болезненной, что о ней невозможно было даже поговорить. Она не имела на него никаких прав. Никогда и речи не заходило о том, что они больше, чем двоюродные брат и сестра. Почти родные. Кроме того, она ясно понимала, страдая от этого, что ему и в голову не приходило воспринимать ее по-

⁶ Гарантирую (нем.).

другому, иначе, так, как ей хотелось бы. А между тем, когда два года назад он сам попросил разрешения посмотреть, какая она без одежды, Сьюзен не только отказала ему, но и впала в полнейшую панику. Двумя днями позже она поделилась всем с Памелой Гроувз, и Памела, посещавшая одну из школ с прогрессивными методами преподавания, чьи родители были намного моложе, просто закатилась от хохота. Сколько переживаний на пустом месте! Да если Сьюзен хочет знать, то она со своими братьями и кузенами постоянно видят друг друга без всего! Да. И приятели братьев видели ее тоже. Так почему же не показать себя бедняге Себастьяну, если ему хочется? Какая глупая викторианская, пуританская стыдливость! Сьюзен даже стало стыдно за их с матушкой старомодные взгляды. В следующий раз, как только Себастьян попросит, она сразу же сдернет с себя пижаму и встанет перед ним, как она решила заранее, с видом римской матроны или кто там еще был изображен на гравюре с картины, Альма-Тадемы, висевшей в кабинете отца? Она с улыбкой поднимет руки, словно поправляя прическу. Несколько дней Сьюзен оттачивала каждое движение, репетируя перед зеркалом, пока не довела их до абсолютного совершенства. Но, увы, Себастьян больше не обращался к ней с подобной просьбой, а ей не хватало смелости проявить инициативу. Вот и получилось, что теперь он мог творить самые дикие безобразия с этой сучкой Эсдейл, а у Сьюзен не осталось ни прав, ни хотя бы повода накричать на него. Не говоря уже о том, чтобы вlepить ему пощечину, чего ей нестерпимо хотелось, и обзывать его по-всякому, и оттаскать за волосы, и... заставить себя поцеловать.

– Ты, наверное, провел день у своей драгоценной миссис Эсдейл, – сказала она, стараясь вложить в интонацию презрение и моральное превосходство.

Себастьян, который шел потупив голову, вскинул на нее взгляд.

– А тебе-то какое дело до этого? – спросил он после паузы.

– Никакого. – Сьюзен передернула плечами и чуть слышно рассмеялась. Но внутренне была недовольна собой и пристыжена. Сколько раз она давала зарок никогда больше не показывать, что ей интересны его животные страсти, не слушать всех наводящих ужас подробностей, которые он описывал так живо, с демонстративным удовольствием! Но каждый раз любопытство брало верх, и она жадно внимала его рассказам. Внимала просто потому, что эти отчеты о том, как он занимается любовью с кем-то другим, причиняли невыносимую боль. Но и потому тоже, что даже такое косвенное участие в его любовных делах, пусть чисто теоретическое и воображаемое, странным образом возбуждало ее и само по себе составляло часть чувственной связи между ними, духовного слияния – не удовлетворявшего, ужасно расстраивавшего, но – единения.

Себастьян смотрел в сторону, но внезапно снова повернулся к ней со странной улыбкой, похожей на улыбку триумфатора, человека, только что кого-то победившего.

– Хорошо, – сказал он. – Но учти, ты сама напросилась. Так что не вини меня, если твоя девичья скромность будет повергнута в шок.

Он издал грубоватый смешок и пошел дальше молча, в задумчивости потирая переносицу кончиком указательного пальца. Как же хорошо ей был знаком этот жест! Он безошибочно показывал, что Себастьян либо сочиняет стихи, либо размышляет, как лучше подать свою очередную историю.

Ох уж эти истории, эти необыкновенные истории! Сьюзен прожила в фантастическом мире, созданном Себастьяном, почти так же долго и насыщенно, как и в реальном мире. Даже, вероятно, более насыщенно, поскольку в реальности ей приходилось рассчитывать только на себя саму, натуру прозаическую, в то время как в мире его рассказов ей доставалась доля богатого воображения Себастьяна, и ее уносил с собой волнующий душу и увлекательный поток его слов.

Первую из таких историй, которую Сьюзен помнила ясно, Себастьян рассказал ей на пляже в Тенби тем летом (скорее всего, это было лето 1917-го), когда на общем торте, при-

готовленном к их совместному дню рождения, зажгли пять свечек. Среди выброшенных на берег водорослей они нашли тогда красный резиновый мяч, порванный почти пополам. Себастьян промыл его, чтобы очистить от набившегося внутрь песка. На влажной внутренней поверхности мяча обнаружился похожий на крупную бородавку нарост. Что это было? Только производители могли бы ответить. А для пятилетнего ребенка в наросте заключалась непостижимая тайна. Себастьян испытующе дотронулся до него пальцем. Это пуп на животике, прошептал он. Они сразу же украдкой огляделись, не слышит ли кто-нибудь: слово «пупок» легко попадало в категорию неприличных, такие не следовало произносить вслух. Пупки у всех растут внутрь, продолжал Себастьян. А когда она спросила, откуда он знает, пустился в подробный рассказ о том, что на его глазах делал с одной маленькой девочкой в смотровом кабинете доктор Картер, когда тетушка Элис привела его к врачу из-за больного уха. Разрезал ее ножом – вот что делал доктор Картер, – разрезал большим ножом и вилкой, чтобы посмотреть на ее пупок изнутри. А если у тебя кожа оказывалась слишком твердой, доктора пускали в ход одну из тех пил, которыми мясники резали кости. Да, так и было, честно-пречестно. И чтобы доказать это, он начал делать вид, что пилит мячик ребром ладони. Изношенная резина мяча поддавалась под давлением; рана делалась все шире и шире по мере того, как он погружал руку глубже в то, что виделось Сьюзен уже не мячом, а животиком маленькой девочки, и больше того – почти что ее собственным животом. «Ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш, ш-ш-ш-ш», – продолжал пилить Себастьян, уже добравшись пациенту чуть ли не до горла. От этого звука действительно кровь стыла в жилах, как от звона стальной пилы по кости. А потом, рассказывал Себастьян, когда разрез получался достаточно длинным, они тебя открывали. Вот так – он отделил одну половину мяча от другой. Выворачивали верхнюю часть наизнанку – вот так, чтобы помыть пупок изнутри с мылом и убрать с него всю грязь. Он принялся яростно скрести таинственную выпуклость, и его ногти так жутко шуршали по резине, что это наводило на Сьюзен неопишуемый страх. Она вскрикнула и закрыла уши ладонями. На многие годы вперед доктор Картер стал для нее воплощением зла, и она начинала плакать, стоило ему приблизиться. Даже сейчас, когда она знала, какая чепуха вся эта сказка о пупке, вид его черного саквояжа и шкафов в его смотровой комнате, полных всевозможных стеклянных трубочек, сосудов и никелированных инструментов, наполнял ее смутной тревогой, от которой она никак не могла полностью избавиться вопреки всем доводам рассудка.

Дядя Джон Барнак часто уезжал из дома на несколько месяцев подряд, путешествуя по свету и пописывая статьи в левацкие газеты, из тех, что отец Сьюзен мог терпеть у себя только лишь в виде растопки для камина. А потому Себастьян значительную часть времени оставался на попечении своей тети Элис, живя в самом близком соседстве с ее младшим ребенком, маленькой девочкой, с которой его разница в возрасте составляла всего один день. И с ростом маленького тельца его живое воображение делалось развитым не по годам, а истории, которые он рассказывал ей – или, скорее, вслух сочинял для самого себя, вдохновляемый ее присутствием, – становились все более сложными и перегруженными подробностями. Порой такая история могла продолжаться неделями и месяцами с бесконечной серией продолжений, сочиняемых по пути в школу и обратно, или за ужином перед газовым обогревателем в детской, или на открытой верхней палубе автобуса, где они усаживались вдвоем, пока скучные взрослые прятались от ветра на первом этаже. Был создан, например, целый эпос, который повествовался практически без перерывов в течение всего 1923 года, – сага о Ларниманах. Или, вернее, о Ла-а-арниманах, потому что название этого племени всегда произносилось шепотом и с обязательным ритуальным растяжением первого слога. Эти самые Ла-а-арниманы были семьей человекоподобных монстров-людоедов, которые жили в подземных туннелях, сходящихся к центральной пещере в точности под вольером для львов и тигров в зоопарке.

– Слушай! – шептал Себастьян каждый раз, когда они оказывались напротив клетки сибирского тигра. – Слушай! – И он с силой топал ногой в асфальт. – Там пустота. Ты уловила звук?

И, естественно, Сьюзен тоже слышала пустоту, а услышав, содрогалась при мысли о том, как Ла-а-арниманы сидели там в пятидесяти футах под ними рядом со сложно устроенным гудящим механизмом, помогавшим им пересчитывать огромные деньги, похищенные из сейфов Банка Англии, как поджаривали детишек, которых умыкали через подвальные люки, как разводили кобр, чтобы запустить потом в канализацию; идет себе человек утречком спокойно посидеть на унитазах, а оттуда вдруг показывается с шипением змеиная голова с распушенным капюшоном. Не то чтобы она до конца верила в это. Но даже если не верить, все равно получалось страшно. Эти жуткие Ла-а-арниманы с их кошачьими глазами, с необыкновенными электрическими пистолетами и с подземными американскими горками – конечно же, они никогда не жили под львиным вольером (хотя под землей там действительно ощущалась пустота, стоило топнуть ногой). Но все же они существовали. Для нее доказательством был факт, что они часто ей снились, а по утрам Сьюзен с крайней осторожностью глядела из-за углов и видела зверей, опасаясь кобр.

Впрочем, теперь Ларниманы далеко ушли в прошлое. Их место занял сначала частный сыщик. Потом (когда Себастьян прочитал одну из папиных книжек про революцию в России) – Троцкий. А затем настал черед Одиссея, чьи приключения летом и осенью 1926 года оказались куда более страшными, чем все, о чем когда-либо сообщал в своих репортажах Гомер. Именно в истории про Одиссея Себастьян впервые включил действующими лицами девушек. Нет, они, конечно, фигурировали в его эпических фантазиях и прежде, но только как жертвы врачей-убийц, каннибалов, кобр и революционеров. (Все, чтобы у Сьюзен мурашки побежали по коже и она издала вскрик испуга!) Но вот в продолжении странствий Одиссея они начали выступать в совершенно иных ролях. Их преследовали, чтобы поцеловать, за ними подсматривали в замочные скважины, когда они переодевались, они плавали нагими в светящемся ночном море, когда Одиссею тоже вдруг приходило в голову освежиться.

Запретные темы, отталкивающе заманчивые, отвратительные в своей привлекательности! Себастьян поначалу касался их вскользь, мимоходом, так сказать, *pianissimo*⁷ и *senza espressione*⁸, словно спешил скорее проскочить скучную часть, гаммы для разминки пальцев, чтобы приступить к романтической рапсодии непосредственно об Одиссее. *Pianissimo*, *senza espressione*, а затем – бам! – аккорд Скрябина посреди квартета Гайдна, и тема начала звучать поразительно громко и внушительно! И вопреки всем усилиям воспринимать все это равнодушно и спокойно, как воспринимала бы Памела, Сьюзен не выдерживала, краснела, готова была разразиться возмущенными восклицаниями, заткнуть уши и бежать прочь, чтобы не слышать больше ни слова. Но всегда продолжала слушать. А порой, когда он прерывал повествование и задавал ей какой-нибудь прямой и жутко нескромный вопрос, она даже заставляла себя что-то мямлить на эту невозможную тему, упираясь взглядом в пол, или же, наоборот, начинала говорить неестественно громогласно с жеманными модуляциями в голосе, а потом, сама того не желая, прыскала от смеха.

Постепенно и Одиссея сошла на нет. У Сьюзен появились уроки музыки и заботы об оценках в будущем аттестате зрелости, а Себастьян бесконечно предавался чтению греческих и английских поэтов, сам пробуя сочинять стихи. На фантастические истории больше не оставалось времени, и даже когда им удавалось ненадолго встречаться, ему стало больше нравится читать ей свои последние творения. Когда Сьюзен хвалила их, что случалось

⁷ Очень тихо (*ит.*).

⁸ Невыразительно (*ит.*).

почти неизменно – поскольку она действительно считала их восхитительными, – лицо Себастьяна светилось от радости.

– Да, пожалуй, это в самом деле неплохо, – говорил он, скромничая, но его улыбка и сияние в глазах, которое невозможно было погасить, выдавали истинные чувства. Но случилось, что некоторые строки были ей непонятны или не нравились; тогда он багровел от злости, обзывал ее дурой и лицемеркой. Или того хуже: саркастически заявлял, что ничего другого и не мог ожидать, поскольку все женщины наделены куриными мозгами, а музыканты славятся полным отсутствием ума; им вполне хватает пальцев и солнечного сплетения. Иногда его слова обижали, но гораздо чаще вызывали улыбку и ощущение, что в сравнении со столь явными проявлениями детской несдержанности сама Сьюзен выглядит восхитительно взрослой и, несмотря на поразительный поэтический дар, во многом превосходит его. Когда Себастьян начинал вести себя подобным образом, он показывал себя необычайно одаренным, но все же ребенком, и тогда в ней оживала другая сторона любви к нему – материнская и покровительственная.

А затем совершенно внезапно через несколько недель после начала нынешнего учебного года истории возобновились, но в совершенно ином ключе. Потому что теперь они стали не повестями о других, а как бы эпизодами автобиографии Себастьяна. Он начал рассказывать ей о миссис Эсдейл. Ребенок из его характера никуда не делся, ему все еще требовалась материнская забота, он нуждался в защите от последствий своих детских поступков. Но вот тот уже вполне взрослый юноша, к которому Сьюзен втайне питала совсем иные чувства, кого почти боготворила, стал любовником другой женщины. Она была старше Сьюзен, красивее и в миллион раз опытнее; богата, изящно одета, умело делала маникюр и пользовалась косметикой – словом, ни о каком сравнении и речи быть не могло. Сьюзен ни словом не давала ему понять, насколько ей все это претит, зато дневник ее пестрел исполненными горечи записями, а по ночам она зачастую засыпала, только уже выплавав в подушку все слезы.

Нахмурившись, она сейчас искося бросила взгляд на своего спутника. Себастьян все еще в глубокой задумчивости ласкал свою переносицу.

– Давай-давай, – в ней вдруг выиграло чувство глубокой неприязни, – три хоботок своего вдохновения, пока не получится хоть что-то складное.

Себастьян вздрогнул и огляделся по сторонам. Его лицо приобрело обеспокоенное выражение.

– Что-то складное? – переспросил он с некоторой опаской.

– Все эти твои красивые речи и остроумные шутки якобы экспромтом, – пояснила она. – Ты, вероятно, считаешь, что я совсем не знаю тебя. Держу пари, ты слишком застенчив, чтобы сказать что-то уместное сразу, даже когда вы...

Она осеклась, не в силах заставить себя произнести фразу, которая выдала бы, насколько неприглядной выглядит для нее воображаемая картина их занятий любовью.

В другое время столь прямой намек на его робость, на унижительную немоту и косноязычие, которое овладевало им в незнакомой или слишком солидной компании, вызвал бы в нем приступ злости. Но в этот раз он был лишь, казалось, слегка задет, но больше заинтригован.

– Почему ты отказываешь мне в праве на маленькую ложь? – спросил он. – Самую крохотную. Искусства ради.

– Ты хочешь сказать, ради себя самого – чтобы выглядеть как персонаж Ноэла Кауарда.

– Как персонаж Конгрива, – возразил он.

– Да чей угодно! – сказала Сьюзен, довольная выпавшим случаем выплеснуть накопившиеся обиды, не показав их истинной природы и причины. – Любая замшелая ложь сойдет, лишь бы тебе не пришлось выставить себя таким, каков ты на самом деле...

– Тот же Дон Жуан, но лишенный дара красноречия, – сказал Себастьян. Эту фразу он придумал себе в утешение после того, как имел такой жалкий вид на рождественской вечеринке у Бовени. – А тебя бесит, что я пытаюсь направить разговор в нужное русло. Не будь уж слишком отъявленной педанткой.

И он улыбнулся ей с таким очарованием, что Сьюзен пришлось капитулировать.

– Договорились, – проворчала она. – Буду верить тебе, даже подозревая, что ты лжешь.

Он окончательно расплылся в улыбке; теперь это был счастливейший из всех ангелов делла Роббиа.

– Даже зная наверняка, что я лгу, – уточнил он и в голос расхохотался. Это была по-настоящему тонкая шутка. Бедная старушка Сьюзен! Она *знала*, что его претензии на умение поддерживать умную светскую беседу – это миф. Но знала она и о том, как однажды он разговорился, сидя на верхней площадке автобуса, шедшего по Финчли-роуд, с молодой и красивой темноволосой женщиной, как эта женщина пригласила его к себе домой на чашку чая, слушала его стихи, призналась, что очень несчастлива с мужем. Под каким-то предлогом она вышла из гостиной, а всего минут пять спустя позвала его: «Мистер Барнак, мистер Барнак!..» И он пошел на зов, поднялся наверх, пересек лестничную площадку, через полуоткрытую дверь попал в почти совсем темную комнату, а потом почувствовал на себе ее обнаженные руки и губы, касавшиеся его лица. Сьюзен знала это наизусть и еще многое другое. Но вся прелесть ситуации заключалась в том, что никакой миссис Эсдейл не существовало. Имя и фамилию он позаимствовал из телефонного справочника, бледный овал лица – из альбома викторианских гравюр на металле, а остальное стало чистейшим плодом его фантазии. И тем не менее все, что вызывало возмущение бедняжки Сьюзен, – это плавная и поэтичная элегантность его рассказов!

– Сегодня на ней было черное кружевное нижнее белье, – начал импровизировать он, совершенно увлеченный выразительной картиной в духе Бердсли, которого обычно презирал.

– С нее станется! – сказала Сьюзен, неприязненно подумав о прочном белом хлопке, который носила сама.

Перед мысленным взором Себастьяна вставал образ Каллипиги в трусиках, вышитых гарусом по канве, окутанной паутиной арабесок. Она почему-то напонила ему декоративную фарфоровую лошадь, серую в яблоках, с завитой гривой, и про себя он даже рассмеялся.

– Я сказал ей, что она – последняя археологическая находка. Пестрая Афродита Хэмпстедская.

– Лжец! – с жаром воскликнула Сьюзен. – Ты не говорил ей ничего подобного.

– Я даже собираюсь написать стихотворение о Пестрой Афродите, – продолжал Себастьян, не обращая на ее слова внимания.

В его сознании уже вспыхнул ослепительный и шумный фейерверк сверкающих фраз.

– Татуировки на шее, пунктиры и завитки. Вот женственное оружие. Но нет ничего убийственнее тончайшего этого кружева на золотистой... Лучше будет: на бархате нежной кожи под самой ее поясницей...

И, право же, рифма получилась как нельзя кстати. Необычная и красивая рифма. «Оружие» и «кружева» – два крепких крюка, на которые можно было теперь навесить сколько угодно изящных брюссельских роз и велюровой кожи.

– Умоляю, заткнись! – сказала Сьюзен.

Но его губы продолжали двигаться:

– О, чудо чернильных узоров на кремовой ягодице! Ты взмахиваешь крылами, подобно волшебной птице, при каждом летящем шаге...

Внезапно он услышал, как его окликнули по имени, и позади действительно раздался топот летящих шагов.

– Какого дьявола?..

Они остановились и повернулись.

– Это Том Бовени, – сказала Сьюзен.

Он самый. Себастьян улыбнулся.

– Спорим на пять монет, он сразу же начнет с обычной дурацкой шутки вроде: «Сьюз, съешь арбуз?»

Шести с половиной футов ростом, трех футов в плечах и с двухфутовым брюхом Том налетел на них, как экспресс «Корнуоллская Ривьера».

– Басти, мой мальчик! – завопил он. – Как раз тебя-то я и искал. Вижу, с тобой наша милая Сьюзен. Привет, Сьюз, съешь арбуз?

Он рассмеялся собственной остроте и обрадовался, когда Себастьян и Сьюзен дружно расхохотались тоже. Такое с ним случалось редко.

– Хотел сказать тебе, – продолжал Том, – что все на мази.

– Что именно?

– Я уладил последние проблемы с ужином. Когда узнал, что по завершении семестра ты тоже уезжаешь за границу, решил устроить все в самом конце каникул.

Он усмехнулся и дружески похлопал Себастьяна по плечу. И этот туда же, отметила про себя Сьюзен. А потом ей пришло в голову, что к Себастьяну все относились так, а он этим пользовался. Умело пользовался.

– Ты доволен? – спросил Том.

Басти он воспринимал как свой талисман, как свое дитя, но в то же время как объект утонченной и светлой любви, которую он – вполне гетеросексуальный с виду юнец – не осознавал за собой, не понимал, что чувствует, а если бы и понимал, то не сумел бы подобрать для этого чувства определения. Он готов был на все, чтобы угодить своему малышу Басти.

Но вместо того, чтобы просиять от радости, Себастьян вдруг погрузился, чуть ли не перепугался.

– Право же, Том, – промямлил он. – Тебе не стоило... Не надо было так стараться из-за меня.

Тот рассмеялся и ободряюще стиснул ему плечо.

– Пустяки, приятель.

– А как же другие парни? Им же это неудобно, – сказал Себастьян, хватаясь за любую соломинку.

Но Том решительно отгнул все сомнения в сторону. По его словам, остальным было решительно наплевать, когда состоится прощальная вечеринка – в начале или в конце каникул.

– Пьянка – она и есть пьянка, – тоном философа заявил он, но в этот момент Себастьян оборвал его так резко, что это получилось некрасиво даже с точки зрения элементарной вежливости.

– Нет, забудь об этом! – воскликнул он с обреченностью в голосе.

Воцарилось молчание. Том Бовени удивленно смотрел на него сверху вниз.

– Ты говоришь так, будто тебе ничего не надо. Ты не придешь? – спросил он, все еще слегка ошеломленный.

Себастьян понял свою ошибку и поспешил заверить, что идея сногшибательная и ему ничего не хотелось бы больше. Что было правдой. Ужин в «Савое», шоу и ночной клуб как венец веселья – ничего подобного он раньше не пробовал. Но ему приходилось отказываться от приглашения по унижительно детской причине: у него попросту не было одежды для подобных мероприятий. А когда он уже рассчитывал, что все забыто и вопрос снят к всеобщему удовлетворению, появляется Том, и проблема возникает снова. Черт бы его побрал!

Черт бы его побрал! Себастьян был решительно готов возненавидеть этого легкомысленного здоровяка за столь навязчивое проявление дружеской привязанности.

– Но если тебе хочется прийти, – напрягал извилины Том, пытаясь извлечь из услышанного здравый смысл, – то какого лешего ты отказываешься? – Он обратился к Сьюзен: – Быть может, ты знаешь ответ на эту загадку?

Сьюзен попала в затруднительное положение. Она, разумеется, знала о том, что дядя Джон из принципиальных соображений отказывался покупать Себастьяну вечерний костюм. В этом проявлялись самые дурные черты его характера. Но почему Себастьян должен стыдиться этого? Почему ему просто не рассказать все начистоту?

– Я, конечно, могу только предполагать... – осторожно начала она.

– Замолчи! Замолчи немедленно! – В приступе ярости Себастьян с такой силой ущипнул Сьюзен за руку, что она взвыла от боли. – Быть может, это научит тебя не лезть в мои дела, – прошептал он злобно и повернулся к Тому. И она с все возрастающим недоумением слышала, что, конечно же, он придет, что было крайне любезно со стороны Тома взять на себя все хлопоты и даже суметь изменить дату. Крайне любезно; и он даже сумел улыбнуться Тому одной из своих фирменных ангельских улыбок.

– Ты же не мог подумать, что я закачу вечеринку без тебя, Басти? – Том Бовени снова стиснул плечо своему талисману, своему единственному ребенку, своему вундеркинду и своей тайной любви. – Сейчас, когда мне предстоит отправиться в Канаду, и только богу известно, свижусь ли с тобой опять. То есть с тобой и остальными парнями из Хаверстока, конечно, – поспешил поправиться он, а потом, чтобы обеспечить себе алиби в глазах Сьюзен, добавил проникновенно: – Если бы мы не устраивали мальчишник, ты бы тоже получила приглашение. Милая Сьюз, съешь весь арбуз!

Он хлопнул ее по спине и рассмеялся.

– А теперь мне пора лететь. Вообще-то у меня не было времени даже на разговор с тобой, но, если уж мне повезло и я встретил тебя, грех не воспользоваться случаем. До скорого, Басти. Пока, Сьюз.

Он развернулся и побежал легко и стильно, несмотря на свои габариты и вес, как профессиональный стайер, скрывшись в темноте, откуда только что возник. Они снова пошли дальше вдвоем.

– Прости, но я никак не возьму в толк, – сказала Сьюзен после продолжительной паузы, – почему ты просто не можешь сказать правду? Не твоя вина, что у тебя нет смокинга. И нет такого закона, который запрещал бы тебе надеть синий шерстяной костюм. Тебя не выставят из ресторана, если ты придешь в нем.

– О, силы небесные! – воскликнул Себастьян, не зная, как еще отреагировать, потому что ему нечем было крыть сводившую с ума справедливость ее слов.

– Но мне-то ты можешь объяснить, почему не сказал правды ему? – упорствовала Сьюзен.

– Не желаю никому ничего объяснять, – сказал он гордо, стремясь подчеркнуть, что тема исчерпана.

Сьюзен посмотрела на него, подумала, насколько же он нелеп в своей гордыне, и пожала плечами:

– Ты хочешь сказать, что у тебя нет разумного объяснения.

В снова наступившем затем молчании Себастьян тихо переживал всю горечь своей участи. Сьюзен была права, он не хотел объяснений, потому что не мог ничего объяснить. Но не из-за недостатка причин, а в силу их мучительной природы. Сначала эта старая корова в библиотеке; даже смерть ее сыночка не оправдывала сюсюканий с ним, как с младенцем в пеленках. Потом Пфайффер с его вонючими сигарами. А теперь еще и это, последнее унижение. Он не только выглядел совсем мальчишкой, хотя знал, что стократ умнее и способнее

самых зрелых мужчин. У него не было даже нормальной одежды и остальных атрибутов, положенных ему по его реальному возрасту. Если бы он хорошо одевался и имел в достатке карманных денег, прочие унижения не были бы столь нестерпимыми. Будь он свободнее в расходах, имей более модное пальто, он легче выносил бы обманчивость своей внешности и фигуры. Но отец выдавал ему всего лишь шиллинг в неделю и принуждал донашивать дешевые вещи, пока в них не появлялись прорехи или не становились слишком коротки рукава. А уж о смокинге для сына он и слышать не хотел. Его облачение лишь подчеркивало хрупкость тела, которое так неопытно прикрывало; он был ребенком в детской одежде. И эта дуреха Сьюзен еще спрашивает, почему он не мог сказать Тому Бовени правду?

– «Amor Fati», – процитировала она. – Разве ты не говорил мне, что отныне это станет твоим девизом?

Себастьян не удостоил ее ответом.

Поглядывая на него, пока он шел рядом с мрачным лицом и до странности скованным, напряженным телом, Сьюзен почувствовала, как ее раздражение тает, уступая место материнской нежности. Мой бедный, мой дорогой! До какого же жалкого состояния он сумел себя довести! И по каким идиотским причинам! Переживать из-за смокинга! Зато она могла руку дать на отсечение, что у того же Тома Бовени никогда не было романа с красивой замужней женщиной. И вспомнив, как восторгался он недавно при упоминании миссис Эсдейл, Сьюзен по доброте душевной решила на вторую попытку.

– Ты не успел закончить рассказывать мне о черном кружевном нижнем белье, – напомнила она после слишком уж затянувшегося молчания.

Но на этот раз ничего не вышло; Себастьян помотал головой и даже не взглянул на нее.

– Ну, пожалуйста, – пробовала упрашивать она.

– Не хочу, – а когда Сьюзен стала настойчивее, сказал с напором: – Ты не поняла? Я не хочу сейчас разговаривать об этом.

Теперь он уже не находил ничего забавного в ее чрезмерной доверчивости. Если смотреть на вещи трезво и с правильной точки зрения, то вся эта болтовня об Эсдейл выглядела лишь еще одним унижением для него.

Он мысленно вернулся к тому жуткому вечеру два месяца назад. На выходе со станции подземки «Кэмден-Таун» торчала девица в голубом, вульгарно хорошенькая, с накрашенными губами и пышными волосами, отливавшими в желтизну. Он два или три раза прошел мимо, набираясь отваги, но чувствуя знакомую слабость в коленях, какую испытывал каждый раз, когда его вызывал к себе директор школы для нравоучительной беседы по поводу математики. До самого порога у него подводило низ живота, но потом, когда, постучавшись, он входил и усаживался напротив крупного и чрезвычайно тщательно выбритого лица, все оказывалось не так уж скверно. «Складывается впечатление, Себастьян, что ваша признанная одаренность в одном из предметов обучения служит для вас поводом пренебрегать работой над другими, которые не доставляют вам равноценного удовольствия». А заканчивалось все тем, что ему приходилось являться в школу на пару часов даже в короткие каникулы или решать ежедневно несколько задач сверх программы в течение месяца. То есть ничего страшного не происходило, ничего, чтобы оправдать тошнотворные предчувствия. Черпая мужество из этих размышлений, Себастьян подошел к девушке в голубом и сказал:

– Добрый вечер.

Поначалу она отказывалась воспринимать его всерьез.

– С таким-то мальчишкой? Да я потом умру от стыда!

Ему пришлось показать дарственную надпись на книге «Оксфордская антология греческой поэзии», которая случайно нашлась у него в кармане. «Дорогому Себастьяну в день 17-летия от дяди Юстаса Барнака. 1928 год». Девушка в голубом прочитала эти слова вслух,

с сомнением посмотрела на его лицо и снова вернулась к книге. От форзаца она наугад перешла сразу к середине тома.

– Ого! Да это на идиш! – Теперь она вгляделась в него с любопытством. – Вот уж ни за что бы не догадалась.

Себастьян подтвердил правоту догадки.

– И ты хочешь меня уверить, что можешь ее читать?

Он показал ей это на примере хора из «Агамемнона», чем убедил окончательно: тот, кто был способен на такое, уже явно не был ребенком. Но есть ли у него деньги? Себастьян достал бумажник и показал фунтовую купюру, все еще остававшуюся от подарка дяди Юстаса на Рождество.

Хорошо, сказала девица. Но у нее не было своей комнаты. Куда он собирался ее отвести?

Тетя Элис, Сьюзен и дядя Фред уехали на все выходные, и у них дома осталась только престарелая Эллен, которая, во-первых, неизменно ложилась спать ровно в девять, а во-вторых, была глуха как пень. Они могли отправиться туда, и он поймал такси.

О последовавшем затем кошмаре Себастьян не мог вспоминать без содрогания. Когда они оказались в его комнате, он обнаружил сначала ее резиновый корсет, а потом и тело, такое же бесчувственное, как и покрывавшая его резина. Вялые бессмысленные поцелуи; ее дыхание – изо рта разило пивом, луком и кариесом. Его собственное перевозбуждение, такое неистовое, что у него мгновенно улетучилось всякое физическое влечение. Затем спокойная холодность и возникшее следом чувство отвращения к тому, что лежало рядом, словно это был труп. Но труп хохотал и высказывал презрительное сострадание к его немочи.

Спускаясь к входной двери, девица попросила разрешения заглянуть в гостиную. У нее мгновенно округлились глаза, когда при включенном свете она узрела ее скромную роскошь.

– Ручная работа! – с восхищением сказала она, проходя мимо камина и пробегая пальцем по краске на парадном портрете дедушки Себастьяна. После этого вопрос оказался для нее решенным. Она повернулась к Себастьяну и потребовала с него еще фунт. Но больше у него не было. Девушка в голубом выразительно плюхнулась на софу. Что ж, очень хорошо. Она подождет, пока он найдет деньги. Себастьян wygrеб из карманов всю мелочь. Три шиллинга и одиннадцать пенсов. Нет, сказала она. Ее устроит только еще одна бумажка, еще фунт. И сиплым контральто она начала мурлыкать это слово:

– Фунт, фунт, фу-унтик.

На мотив песенки «Эти ирландские глаза».

– Не делайте этого, – взмолился он. Но песня зазвучала только громче. Она распевала во все горло.

– Фунт, фунт, фу-унтик, красивый, хрустящий такой...

Уже почти в слезах, Себастьян попытался урезонить ее: наверху спал слуга, да и соседи мог разбудить шум.

– Пусть все приходят, – сказала девица в голубом. – Милости просим!

– Да, но что они скажут? – Голос Себастьяна был еле слышен; у него дрожали губы.

Девица презрительно посмотрела на него, разразившись оглушительным и противным смехом.

– Так тебе и надо, маленький плакса, вот что они скажут. Отправился шляться по шляхам, а самому надо было сидеть дома, чтобы мамочка вовремя сопلي утирала. – Она начала отбивать ритм. – Раз, два, три, а теперь все вместе. Ирландский фунт, английский фунт, бумажки дорожки-и-е...

На небольшом столике рядом с софой Себастьян заметил нож для бумаг из черепахового панциря с позолоченной ручкой, подаренный дяде Фреду по случаю 25-летия его

работы в Сити и конкретно в компании «Фар-Истерн Инвестмент». Стоил он гораздо больше фунта. Схватив его, Себастьян попытался вложить нож ей в руку.

– Возьмите это взамен, – упрашивал он.

– Еще чего? Чтобы меня повязала полиция, как только я попытаюсь продать его? – и отпихнула нож в сторону. Взяв октавой ниже, но еще громче она завела свое: – Ирландский фунт...

– Замолчите! – в отчаянии воскликнул он. – Замолчите! Я найду для вас деньги. Честное слово, найду!

Девушка в голубом перестала распевать и посмотрела на свои часики.

– Так и быть. Даю тебе пять минут, – сказала она.

Себастьян выскочил из комнаты и рванул вверх по лестнице. Минутой позже он уже барабанил в дверь, выходящую на одну из площадок.

– Эллен! Эллен!

Ответа не последовало. Глуха как пень. Проклятая старуха! Черт бы ее побрал! Он снова постучал и продолжал выкрикивать ее имя. Внезапно без всякого предупреждения дверь открылась, и на пороге показалась Эллен в ночном халате из серого фланелета, с седыми волосами, завязанными ленточками в два поросячьих хвостика, но без вставной челюсти, отчего ее круглое, как яблоко, лицо казалось провалившимся вниз. И когда она спросила, уж не пожар ли случился в доме, он с трудом понял вопрос. Сделав над собой огромное усилие, он изобразил самую ангельскую улыбку – ту самую, которая всегда позволяла добиваться от Эллен чего угодно всю их жизнь под одной крышей.

– Прости, Эллен, я не стал бы тебя так будить, но дело очень срочное.

– Какое дело? – спросила она, поворачиваясь к нему тем ухом, которое слышало немного лучше другого.

– Не могла бы ты одолжить мне фунт?

На ее лице не отразилось понимания, и ему пришлось прокричать:

– ФУНТ!

– Фунт? – теперь несколько изумленным эхом повторила она.

– Да, я одолжил деньги у приятеля, и он сейчас ждет внизу.

Беззубо шамкая, но сохраняя свой северный прононс, Эллен поинтересовалась, почему с приятелем нельзя рассчитаться завтра.

– Потому что он уезжает, – объяснил Себастьян. – Ему нужно в Ливерпуль.

– О, в Ливерпуль, – сказала Эллен совершенно другим тоном, словно все теперь предстало ей в ином свете.

– Он торопится на корабль? – спросила она.

– Да, отплывает в Америку! – прокричал Себастьян.

В Филадельфию.

Рано утром отбывает в Филадельфию⁹.

Он посмотрел на часы. Чуть больше минуты – и безобразные звуки ирландской песни раздадутся снова. Он улыбнулся Эллен еще более очаровательно.

– Сможешь меня выручить?

Старушка улыбнулась в ответ, взяла его руку и приложила на мгновение к щеке, а потом, не произнеся больше ни слова, направилась в глубину спальни за кошельком.

Когда все вернулись домой, уже в понедельник, Себастьян впервые рассказал про мисс Эсдейл, провожая Сьюзен после урока у Пфайффера. Утонченная, образованная, необуз-

⁹ «Меня зовут Падди Лира» (народная песня).

данно сладострастная Эсдейл в объятиях своего победоносного юного любовника. Такой стала обратная сторона медали, на лицевой стороне которой остались образы похабной девицы в голубом и испуганного, малодушного, никчемного мальчишки.

На углу Гланвил-плейс их пути расходились.

– Отправляйся прямо домой, – сказал Себастьян, прерывая долгое молчание. – А я пойду посмотрю, смогу ли застать отца.

И не дожидаясь ответа Сьюзен, он повернулся и быстро пошел прочь.

Сьюзен застыла на месте, глядя, как он торопливо двигался вдоль улицы, такой хрупкий и беспомощный, но маршировавший с решимостью отчаявшегося навстречу неизбежной неудаче. Потому что, конечно же, если бедный мальчик надеялся на доброту дяди Джона, он лишь напрашивался на новую душевную рану.

При свете уличного фонаря на углу его бледные волосы вдруг вспыхнули ярким ореолом взъерошенного пламени, а потом он свернул и пропал из виду. И в этом вся жизнь, размышляла Сьюзен, пустившись в путь дальше в одиночку. Черета уличных углов. Ты встречаешь что-то – необычное, красивое и желанное, а в следующий момент подходишь к очередному углу, за которым оно скрывается и исчезает навсегда. А если и не исчезает, то оказывается влюбленным в миссис Эсдейл.

Она поднялась по ступенькам крыльца дома 18 и позвонила. Ей открыла Эллен, но, прежде чем впустить, заставила тщательно вытереть подошвы о половик.

– Не хватало только, чтобы ты натащила грязи на мои ковры, – сказала она своим обычным ворчливым, но добродушным тоном.

Перед тем как подняться наверх, Сьюзен поздоровалась с матерью. Миссис Поулшот оказалась страшно занята и лишь мимоходом чмокнула дочь в щеку.

– Постарайся ничем не потревожить своего папочку, – посоветовала она. – Нынче вечером он что-то не в духе.

О Господи, подумала Сьюзен, которая страдала от перепадов настроений отца, сколько себя помнила.

– И переоденься в светло-голубое платье, – добавила миссис Поулшот. – Я хочу, чтобы дядя Юстас увидел, какая ты красавица в лучшем наряде.

А ей было глубоко наплевать, считал ее красавицей дядя Юстас или нет. И вообще, думала она, поднимаясь по лестнице, стоит ли даже пытаться конкурировать с замужней дамой, богатой, выписывавшей туалеты из Парижа и, вероятно, – хотя Себастьян странным образом ни разу не упоминал об этом, – пользовавшейся самыми соблазнительными в мире духами.

Она включила в своей комнате газовый обогреватель, разделась и спустилась на пол-пролета лестницы в ванную. Все удовольствие от струй горячей воды портило неистребимое желание миссис Поулшот, чтобы в ее доме все пользовались только карболовым мылом. В результате, приняв ванну, всякий выходил из нее, распространяя аромат не миссис Эсдейл, а скорее хорошо вымытой собаки. Вот и Сьюзен принялась к себе, протянув руку за полотенцем, и скорчила гримасу отвращения, почувствовав, как пахнет ее чистое тело.

Спальня Себастьяна располагалась по другую сторону лестничной площадки от ее комнаты. И зная, что его нет, она смело вошла, выдвинула верхний ящик туалетного столика и достала безопасную бритву, которую он купил два месяца назад, когда ему померещилось, что у него начала расти борода.

Очень тщательно, как будто ей предстояло сначала танцевать в платье без рукавов, а потом провести исполненную любовных страстей ночь, она выбрила себе подмышки. Потом собрала все сбритые волоски, способные выдать ее, и положила бритву обратно в футляр.

III

Себастьян тем временем шел по Гланвил-плейс, морща лоб и кусая губы. Сегодня, вероятно, у него оставался последний шанс добиться разрешения на покупку настоящего вечернего костюма, чтобы успеть к вечеринке Тома Бовени. Себастьян уже знал, что к ужину нынче вечером отца не ждали, завтра он отправлялся в Хаддерсфилд или куда-то там еще на важное совещание, возвращался в среду вечером, а в четверг утром они вдвоем должны были выехать во Флоренцию. Поэтому вопрос стоял ребром: сегодня или никогда.

«Вечерние наряды являются классовыми символами, и я считаю преступлением тратить деньги на бесполезные предметы роскоши, в то время как стольким достойным людям приходится жить впроголодь». Себастьян заранее знал все аргументы, к которым прибегнет отец. Но за этими аргументами все же стоял живой человек – властный, но справедливый, требовательный к другим, потому что был еще более требовательным к себе самому. И если к такому человеку найти правильный подход, может случиться, что те же аргументы не приведут к заранее известному жесткому выводу. На долгом и мучительном опыте Себастьян убедился, как важно никогда не показывать, насколько ты в чем-либо заинтересован, и не упорствовать понапрасну. Он должен попросить у отца смокинг, но так, чтобы отец не догадался, до какой степени он ему нужен. Стоит ему понять это, и отказ станет неизбежным. Формально он, конечно же, будет мотивирован причинами экономии и социалистической этики, но на самом деле, как Себастьян начал подозревать, отцу еще и доставляло определенное удовольствие, если он мог помешать исполнению слишком откровенно выраженных сыном желаний. Не угодить в эту ловушку, – и тогда, быть может, он не даст отцу и других, более возвышенных поводов для отказа. Однако для приведения задуманного в исполнение требовалось изрядное актерское мастерство, утонченность, а самое главное – присутствие духа, которого Себастьяну так часто не хватало прежде в самые ответственные моменты. Может быть, ему следовало заранее продумать план наступления, использовать блестящую и неожиданную стратегию...

Себастьян шел все это время, устремив взгляд на тротуар под ногами, но теперь задрал голову вверх, как будто этот самый совершенный и несокрушимый план был начертан на покрытом облаками небе, а ему оставалось только прочитать его и хорошо усвоить. Он поднял голову и внезапно увидел это на противоположной стороне улицы. Нет, не план, разумеется, а примитивную методистскую церковь, его церковь, единственное, что могло вечером привлечь внимание на Гланвил-Террас. Но сегодня, заблудившись в лабиринте своих горестей, Себастьян начисто забыл о ней. И сейчас она сама, как преданный друг, выросла перед ним с основанием, залитым зеленоватым светом газовых уличных фонарей, и верхней частью, которая делалась все темнее и темнее, удаляясь от света, пока узкий шпиль, сложенный из викторианского кирпича, не становился лишь черным силуэтом на фоне почти такого же черного и мутного лондонского неба. Все детали отделки, отличавшие здание от других, постепенно меркли и терялись вверх в таинственном единообразии, в беспредельном мраке небес над Лондоном. Но внизу фрагменты декора и орнаменты были видны ясно при ярком свете. Себастьян стоял у подножия церкви и смотрел. Все пережитые унижения и страх перед тем, как встретит его отец, куда-то пропали, и он испытал странный и необъяснимый прилив возвышенного волнения, которое это зрелище неизменно в нем вызывало.

О, маленькое убожество! Ты вдруг превращаешься в храм,
Наполненный тем же величием святости, как Бурж или
Элефанта,
И ни преподобный Уилкинс, ни пресность воскресных молений

Не могут тебе помешать зеленым прелестным цветком
В Поэзию корни пустить...

Он повторил про себя начальные строчки стихотворения и снова посмотрел на предмет вдохновения, построенный в худший для методистской церкви период из самых дешевых материалов. Невероятно уродливое при дневном освещении сооружение. Но наступал час, когда включались фонари, и оно преисполнялось красоты и значительности, как мало что другое из всего, что Себастьяну доводилось видеть. И какой же была эта церковь на самом деле? Тем маленьким монстром, где воскресным утром собирались преподобный Уилкинс и его паства? Или вот этой восхитительной и безграничной мистерией, в чреве которой таились другие загадки? Себастьян встряхнулся и пошел дальше. На этот вопрос невозможно было получить простого ответа. Ты мог только попытаться сформулировать его в поэтической форме.

О, маленькое убожество! Ты вдруг превращаешься в храм,
Наполненный тем же величием святости...

Дом номер 23 с отделанным штукатуркой фасадом был таким же высоким, как и остальные, стоявшие с ним в ряд. Себастьян прошел под колоннадой при входе, пересек обширный холл и с вернувшимся чувством тревоги, исчезнувшим ненадолго, стал подниматься по лестнице.

Первый пролет, второй, третий, еще один, и он оказался перед дверью квартиры отца. Себастьян уже поднял руку к звонку, но потом дал ей бессильно опуститься. Он чувствовал слабость, у него бешено колотилось сердце. Это был приступ слишком хорошо знакомого недуга, прилив трусости перед встречей с директором школы, лихорадка у порога. Он посмотрел на часы. Шесть сорок семь и тридцать секунд. Ровно в шесть сорок восемь надо будет позвонить, войти и сразу все выложить, как уж получится.

«Папа, ты просто обязан разрешить мне купить смокинг...» Он снова поднял руку и большим пальцем крепко надавил на кнопку звонка. Внутри квартиры раздался звук, похожий на громкое жужжание злобной осы. Он подождал полминуты и позвонил снова. Никакого ответа. Его последний шанс на глазах растворялся. В сознании Себастьяна разочарование от этой мысли густо смешалось с чувством огромного облегчения, словно ему дали отсрочку перед неизбежным наказанием. До вечеринки Тома Бовени оставалось все-таки еще недели четыре, а вот если бы отец оказался дома, ужасавший Себастьяна разговор уже начался бы. Как раз в этот самый момент.

Он успел спуститься вниз всего на один пролет, когда звук знакомого голоса заставил его замереть.

– Семьдесят две ступеньки, – сказал его отец из холла при входе.

– Dio!¹⁰ – отозвался другой, иностранный голос. – Да вы живете на полпути в рай.

– Этот дом являет собой превосходный символ, – продолжал звонкий голос англичанина, явно принадлежавшего к привилегированному общественному классу. – Символ загнивания капитализма.

Себастьян знал, как разыгрывался этот словесный гамбит. Джон Барнак обычно всегда прибегал к нему, когда впервые подводил нового знакомого к подножию казавшейся бескончаемой лестницы.

¹⁰ Боже! (ит.)

– В свое время здесь жила единственная богатая викторианская семья, – это был следующий ход. – А теперь здесь свили себе гнезда холостяки и борющиеся за выживание дамы, пытающиеся заниматься бизнесом. Есть еще пара бездетных семей для комплекта.

Голос становился громче и отчетливее по мере приближения его владельца.

– ...И, естественно, все это – конечный продукт растущей безработицы и падающего уровня рождаемости. Одним словом, разрушенное естество и Мэри Стоупс торжество¹¹. – И засим последовал неожиданный взрыв оглушительного с металлическим оттенком смеха Джона Барнака.

– О боже! – прошептал Себастьян. Он уже в третий раз слышал эту шутку и неизбежный смех самого шутника.

– Стоуп? – переспросил иностранный голос, когда веселье собеседника чуть унялось. – Я не совсем понял, что это значит в таком смысле – стоуп. Стоп? *Stoppare? Stooper? Stopfen?*

Но ни итальянский, ни французский, ни немецкий языки не передавали смысла остроты.

Кембриджский акцент пустился в терпеливые и подробные разъяснения.

Себастьяну меньше всего хотелось, чтобы его заподозрили в подслушивании, и потому он стал быстро спускаться вниз, а когда из-за поворота лестницы показались двое мужчин, издал вполне правдоподобно прозвучавший возглас изумления.

Мистер Барнак поднял взгляд и увидел сначала в маленькой стройной фигурке, стоявшей шестью ступеньками выше, не Себастьяна, а его мать – Роузи – тем вечером на балемаскараде у Хиллиардов, когда бывшая жена облачилась как леди Каролина Лэм, но замаскированная под пажа Байрона в пестром обезьяньем жилете и узких бриджах из красного бархата. Три месяца спустя пришла пора войны, а еще через два года она сбежала от него с этим мерзким дебилом Томом Хиллиардом.

– А, это ты, – сказал мистер Барнак, не позволив ни намеку на удивление, радость или любую другую эмоцию отразиться на своем смуглом, с загрубевшей кожей лице.

Себастьян именно такую реакцию всегда воспринимал как самую неприятную черту характера отца: по выражению его лица никогда невозможно понять, что он чувствует или о чем думает. Он смотрел на тебя прямым немигающим взглядом, и его серые глаза оставались пустыми и равнодушными, как если бы перед ним стоял совершенно неинтересный ему незнакомец. А потому его расположение духа неизменно выражалось сначала только в словах, в этом громком самоуверенном голосе судебного оратора, в этих тщательно взвешенных и подобранных фразах, которые он умел произносить так красноречиво. Зато посреди молчания или разговора на пустяковые темы он мог абсолютно неожиданно выйти из состояния пассивности и наполнить комнату гласом, словно снисходившим с вершины горы Синай.

С неуверенной улыбкой Себастьян шагнул ему навстречу.

– Мой младшенький, – представил его мистер Барнак.

Гостем отца оказался профессор Качегвида – знаменитый профессор Качегвида, счел нужным добавить мистер Барнак. Себастьян уважительно улыбнулся и пожал ему руку. Это был, должно быть, тот самый антифашист, о котором отец уже упоминал прежде. Что ж, голова красивая, подумал он, когда профессор отвернулся. Рим периода расцвета, но с совершенно излишне длинной седой шевелюрой, романтически зачесанной со лба назад. Он бросил еще один мимолетный взгляд. Да, впечатление создавалось такое, словно император Август сделал себе прическу под Ференца Листа.

Но как же странно, продолжал размышлять Себастьян, когда они преодолевали последний лестничный пролет: тело гостя поражало невообразимым и даже каким-то патологическим несоответствием с его головой. У великого императора оказалась узкая грудь и плечи

¹¹ Известная британская феминистка.

школьника. Ниже еще более явно бросались в глаза животик и широкие бедра, которые могли бы принадлежать женщине средних лет. А заканчивалось все тонкими и короткими ножками, обутыми в крошечные лакированные башмачки на кнопках вместо шнурков. Как личинка, начавшая расти, но остановившаяся в развитии, когда успели полностью сформироваться только передняя и верхняя части организма, а ниже все осталось на уровне нелепого головастика.

Джон Барнак отпер дверь своей квартиры и включил свет.

– Мне лучше пойти и сообразить что-нибудь на ужин, – сказал он, – зная, что вам нужно так рано уезжать, профессор.

Возникла возможность поговорить с ним о смокинге. Но когда Себастьян предложил свою помощь на кухне, отец безапелляционным тоном приказал ему оставаться на месте и развлечь беседой их прославленного гостя.

– А как только у меня все будет готово, – добавил он, – тебе лучше исчезнуть. Нам нужно обсудить кое-что крайне важное.

И небрежно вернув Себастьяну роль послушного ребенка, мистер Барнак повернулся и быстрым решительным шагом, каким боксер направляется к рингу, вышел из гостиной.

Себастьян на несколько секунд замер в нерешительности, а потом подумал, что на этот раз нарушит волю отца, последует за ним на кухню и решит наболевший вопрос окончательно и бесповоротно. Но как раз в этот момент профессор, с любопытством разглядывавший комнату, с улыбкой повернулся к нему.

– Однако до чего же здесь все безупречно стерильно! – воскликнул он своим мелодичным голосом с очаровательным намеком на иностранный акцент, но выдав необычайно литературную по звучанию фразу только лишь ради того, чтобы показать, насколько свободно он владеет языком.

В этой пустой и, в общем-то, невзрачной гостиной все, за исключением книг, было покрашено под цвет молока со снятой пенкой, а пол покрывал блестящий лист светло-серого линолеума. Профессор Качегвида уселся в одно из металлических кресел и дрожащими, покрытыми пятнами никотина пальцами прикурил сигарету.

– Так и ждешь, что в любой момент сюда войдет хирург, – добавил он.

Однако вошел Джон Барнак, вернувшийся с тарелками, ножами и вилками. Профессор повернул голову в его сторону, но заговорил не сразу. Сначала он приложил к губам сигарету, затянулся, задержал дым в легких на пару секунд, а потом с наслаждением выпустил его через свои императорские ноздри. После чего, удовлетворив немедленное и насущное желание, обратился через всю комнату к хозяину:

– Мне определенно видится во всем этом нечто пророческое, – взмахом руки он обвел гостиную. – Прообраз будущего жилища, устроенного на рациональных и гигиеничных принципах.

– Спасибо, – отозвался Джон Барнак, не поднимая головы. Он накрывал на стол со столь же полной концентрацией внимания, с той же продуманной тщательностью, с которой, как давно заметил Себастьян, выполнял любую работу от самой важной до мелочно пустяковой. Он расставлял тарелки так, как будто управлял сложнейшим лабораторным аппаратом или (здесь профессор оказался прав) проводил тончайшую хирургическую операцию.

– И все-таки, – продолжал профессор с коротким смешком, – в том, что касается искусства, я, должен признать, остаюсь старомодным и сентиментальным. Всегда предпочту вчерашний день сегодняшнему. Взять, к примеру, квартиру Изабеллы в Мантуе. Кругом пылища и плесень. И вся эта резьба по дереву! – Он нарисовал в воздухе несколько завитков дымом своей сигареты. – Завал археологического хлама! Но сколько теплоты, сколько богатства!

– Несомненно, – кивнул мистер Барнак. Он выпрямился во весь рост и смотрел на своего гостя сверху вниз уверенным и пронзительным взглядом. – Но из чьих карманов извлечено это богатство?

И, не дожидаясь ответа, снова скрылся на кухне.

Но, как выяснилось, профессор только начал развивать тему.

– А вы что думаете? – спросил он, обращаясь к Себастьяну.

Вопрос сопровождался милейшей улыбкой, хотя стоило ему продолжить, и сразу стало предельно ясно, что мнение Себастьяна несколько его не интересовало. Ему лишь требовалась аудитория.

– Вероятно, грязь – необходимое условие возникновения красоты, – витийствовал он. – Допускаю, что гигиена и искусство никогда не полюбят друг друга по-настоящему. Вам не исполнить Верди, не напустив слюней в трубы. И никакой Дузе¹² не было бы без толп вонючих буржуа в зрительном зале, передающих друг другу свои насморки и другие хвори. А подумайте, сколько отвратительных микробов приютил Микеланджело в курчавой бороде своего Моисея!

Он сделал торжествующую паузу, дожидаясь аплодисментов. Себастьян ему их дал в форме искреннего смеха. Легковесная виртуозность болтовни профессора понравилась ему, а итальянский акцент и неожиданные обороты речи добавляли всему этому странного шарма. Однако по мере того, как импровизация продолжалась и развивалась, отношение к ней Себастьяна претерпело разительную перемену. Не прошло и пяти минут, как он уже молил Бога, чтобы этот старый зануда поскорее заткнулся.

Но только запах и шипение на сковородке бараньих ребрышек привели к желаемому результату. Профессор откинул назад свою благородной формы голову и с предвкушением втянул носом аромат.

– Амброзия! – воскликнул он. – Мы видим второго Барония среди кастрюль и кухонных ножей.

Себастьян, понятия не имевший и о первом Баронии, развернулся и посмотрел внутрь кухни через открытую дверь. Отец стоял к ним спиной. Его голова с сединой в волосах и сильные широкие плечи были наклонены вперед, пока он колдовал над плитой.

– Не только великий мыслитель, но и великий повар, – сказал профессор.

Да, в этом-то и заключалась суть всех бед, отметил про себя Себастьян. Не только великий повар (хотя вслух он не раз презрительно высказывался о тех, кого увлекала еда как таковая), но и великий аккуратист, великий альпинист, великий бухгалтер, великий ботаник и наблюдатель за птицами, великий мастер эпистолярного жанра, великий социалист, великий любитель пеших прогулок, великий трезвенник и враг курения, великий докладчик, великий знаток всевозможной статистики – короче, он был велик во всем. Неутомимый, деятельный, эффективный, здоровый, обладавший тысячей достоинств и к тому же борец за счастье человечества. Если бы он хотя бы иногда позволял себе сделать паузу и отдохнуть! Если бы только и в его броне нашлись уязвимые места!

Профессор заметно повысил голос в явной надежде, что его следующую реплику услышат на кухне сквозь шипение жира на сковородке.

– Причем великий ум соседствует в нем с еще более великим сердцем и душой, – произнес гость торжественным, взволнованным тоном. Потом он склонился вперед и положил маленькую руку, очень бледную, если не считать желтых табачных разводов, на колено Себастьяну. – Надеюсь, ты гордишься отцом не меньше, чем он того заслуживает?

¹² Итальянская актриса.

Себастьян несколько неопределенно улыбнулся и издал звук, который при желании сошел бы за утвердительный ответ. Но для него осталось загадкой, как человек, хотя бы немного знавший отца, мог утверждать, что тот наделен сердечностью и душевностью.

– Ведь он мог бы вполне добиться высочайших политических почестей при старой партийной системе. Но у него есть принципы, и он отказался играть по их правилам. А теперь кто знает? – Профессор как бы заключал свои слова в скобки и даже понизил голос до доверительного уровня. – Возможно, он уже вскоре будет вознагражден за это. Социализм наступит гораздо раньше, чем думает подавляющее большинство, и когда социалисты окажутся у власти... – Он экспрессивно воздел руку, пророчествуя грядущую славу мистера Барнака. – Если подумать, – продолжал он, – то какое состояние он мог бы сколотить, если бы не бросил заниматься адвокатурой. Тысячи, десятки тысяч фунтов! Но он отказался от легкого богатства, уподобившись святому Франциску. И все, что имеет, раздает с неслыханной щедростью. Партия, движения, просто нуждающимся людям. Раздает всем. Всем, – повторил он, горделиво вскинув благородную голову. – Без остатка!

Но есть одно исключение, мысленно поправил его Себастьян. Денег оказывалось вполне достаточно на поддержку политических организаций и, как он уже догадывался, иностранных профессоров в изгнании. Но если речь заходила о том, чтобы послать сына учиться в хорошую школу, чтобы купить ему приличную одежду и смокинг – тут средств уже не хватало. Профессор снова громогласно предался своему раздражающему красноречию. Чуть не лопааясь от вскипавшего внутри гнева, Себастьян дотерпел и был только благодарен, когда поданная к столу баранина прервала поток панегириков, а его освободила от необходимости дальнейшего присутствия в отцовском доме.

– Передай тете Элис, что я приду к ним после ужина, – выкрикнул мистер Барнак ему вслед, когда он уже выскочил на лестницу. – И сделай так, чтобы дядя Юстас не уехал до моего появления. Мне с ним нужно обсудить еще много организационных вопросов.

Снаружи Себастьяна дожидалось его маленькое церковное убожество, все еще окутанное поэтичным мраком, не лишившись пока необъяснимой значимости и красоты, но вот только Себастьян был сейчас погружен в такую бездну обиды и злости, что не удостоил церковь даже взглядом.

IV

С бокалом хереса в руке Юстас Барнак стоял на коврике у камина, разглядывая портрет своего отца, висевший поверх мраморной доски. Из темной глубины на него смотрело квадратное мужественное лицо магната текстильной промышленности и филантропа, глаза которого были устремлены в пустоту, как два фонарика.

В задумчивости Юстас покачал головой.

– Сотни гиней, – сказал он. – Вот сколько денег было собрано по подписке на создание этого «шедевра». А сейчас тебе повезет, если за него дадут хотя бы пять. Лично я, – продолжил он, поворачиваясь к сестре, которая изящно, хотя чуть излишне прямо сидела на софе, – лично я готов предложить десятку, чтобы ты убрала его отсюда.

Элис Поулшот промолчала. Глядя на него, она думала, как же ужасно Юстас постарел со времени их последней встречи. Он выглядел гораздо старше, чем три года назад. Кожа на лице стала напоминать плохо натянутую резиновую маску, обвиснув на скулах, дряблая, мягкая и покрытая нездоровыми пятнами. А что до рта... Она вспомнила сияющего смеющегося мальчика, которым когда-то так гордилась. В его внешности именно эти изящные, всегда чуть по-детски приоткрытые губы так разительно, но мило контрастировали с чертами зрелого мужчины – странная, но одновременно глубоко трогательная особенность. На него невозможно было тогда посмотреть, чтобы в тебе не возникло желание по-матерински

приласкать. А сейчас – сейчас на него нельзя было взглянуть без внутреннего содрогания. На влажную, все еще подвижную, но уже бесформенную линию рта, в котором теперь жутковато проступали одновременно и полудетские и старческие приметы; инфантилизм и эпикурейство рядом. Только в его по-прежнему умных и веселых глазах все еще находила она сходство с тем Юстасом, которого прежде так любила. Но и белки глаз пожелтели, местами выступили красные прожилки сосудов, а снизу набрякли тяжелые мешки обесцветившейся кожи.

Пухлым указательным пальцем Юстас постучал по полотну картины.

– Представляю, как бы он взбесился, если бы узнал! Я же помню, что он изначально противился этой идее. Выбросить такие деньжищи на никому не нужную картину, когда их можно было с толком потратить на что-то действительно полезное – фонтанчик для питья или на чистую общественную уборную.

Услышав слова «общественная уборная», его племянник Джим Поулшот оторвал взгляд от номера «Ивнинг стандарт» и грубовато рассмеялся. Юстас мгновенно повернулся и с иронией посмотрел на него.

– И ты совершенно прав, мой мальчик, – сказал он с притворной сердечностью. – Только хорошее чувство юмора превратило Англию в великую имперскую державу.

Он подошел к софе и осторожно опустил на нее свое расплывшееся тело. Миссис Поулшот чуть подвинулась ближе к углу, чтобы дать ему больше места.

– Наш бедный старик отец! – сказал он, продолжая прежнюю тему.

– С чего это ты называешь его бедным? – довольно резко спросила Элис. – Бедными мы все были, конечно, в свое время. Но ему удалось многого добиться. Именно ему. Кто-нибудь из нас внес потом хоть какой-то вклад в семейный бизнес, хотела бы я знать?

– В какой бизнес? – переспросил Юстас. – Уж не имеешь ли ты в виду те развалины, что остались от его дела? Фабрики работают в полсмены из-за конкуренции индийцев и японцев. Индивидуальному патернализму теперь противостоит постоянное вмешательство государственных органов, которые он считал порождением дьявола. Либеральная партия умерла и похоронена. На смену серьезному и благородному рационализму пришла циничная распушенность. И если наш покойный старик не заслуживает сострадания, то я уж и не знаю, кто достоин его.

– Дело ведь не в конечном результате, – сказала миссис Поулшот, противореча самой себе.

Отца она боготворила и, вставая на защиту памяти о нем, которую до сих пор почитала чем-то святым, готова была пожертвовать далеко не только логичной последовательностью своих рассуждений.

– Важны мотивы, намерения, умение много работать – да, да, работать до самозабвения, – добавила она с важным видом.

Юстас хрипло рассмеялся.

– В то время, как я думаю только о собственных удовольствиях, верно? – спросил он. – По-твоему, если я сильно растолстел, то виноват лишь сам и пороки, которым безудержно предаюсь? А тебе не приходило в голову, моя дорогая, что, проживи мама подольше, она, вероятно, приобрела бы те же громадные габариты, что и дядя Чарльз?

– Как у тебя язык поворачивается говорить такое! – возмущенно воскликнула миссис Поулшот. Их дядя Чарльз выглядел чудовищно ожиревшим.

– Это у нас семейное. – Он ласково потрепал себя по животу. – Было, есть и будет.

Звук открывшейся двери заставил его повернуть голову.

– Ага! – вскричал он. – Вот и мой будущий гость!

Еще полностью погруженный в свои горькие мысли и объятый печалью, Себастьян чуть не вздрогнул и поднял взгляд. Дядя Юстас... Занятый собственными заботами, он совершенно о нем забыл и потому замер на пороге с открытым ртом.

– «В задумчивом или праздном настроении»¹³, – весело продолжал Юстас. – Насколько же это типично для поэтической натуры!

Себастьян подошел и пожал протянутую ему руку. Она была мягкая, влажная и на удивление холодная. Осознание, что он, вероятно, производил сейчас довольно-таки жалкое впечатление, в то время как необходимо было показать себя с наилучшей стороны, только усугубило его скованность и почти лишило дара речи. Но ум его продолжал работать. На этом огромном и пухлом лице, подумал он, глаза выглядели маленькими, как у слона. И вообще, он производил впечатление элегантного маленького слоника в черном двубортном костюме и брюках в светло-серую клетку. А был еще и монокль на шнурке, который делал его похожим на пожилого денди из музыкальной комедии!

Юстас повернулся к сестре.

– Он с каждым годом все больше и больше напоминает Роузи, – сказал он. – Просто поразительно!

Миссис Поулшот молча кивнула. Мать Себастьяна казалась ей темой, которой в разговоре следовало по возможности избегать.

– Что ж, Себастьян, надеюсь, ты морально готов к довольно напряженному графику каникул. – Юстас снова потрепал себя по животу. – Потому что перед тобой чемпион мира по осмотру достопримечательностей. Автор сочинений «Галопом по Флоренции», «Весь Ватикан на роликовых коньках» и «Вокруг Лувра за восемьдесят минут». А со скоростью, с которой я осматриваю английские соборы, конкурировать не может вообще никто.

– Вот дурачок! – со смехом сказала миссис Поулшот.

Джим разразился в унисон громким хохотом, и Себастьян, позабыв на время о смокинге, влился в общее веселье. Образ этого франтоватого слона, несущегося по Кентерберийскому собору в мешковатых спортивных брюках, но с моноклем в глазу, представлялся невероятно потешным.

Бесшумно, среди взрывов смеха, дверь снова распахнулась. Серый, мрачный, с удлинненным лошадиным лицом, словно оно отражалось в кривом зеркале, вошел Фред Поулшот, ступавший тихо, как на подбитых войлоком ботинках. Джим и Себастьян сразу посерьезнели. Фред подошел к софе, чтобы поприветствовать зятя.

– Хорошо выглядишь, – сказал Юстас, обмениваясь с ним рукопожатиями.

– Хорошо? – повторил за ним мистер Поулшот обиженно. – Тогда пусть Элис расскажет тебе как-нибудь о моем свище.

Он отвернулся и со скрупулезной тщательностью человека, готовящего себе дозу слабительного, наполнил бокал хересом ровно на одну треть.

Юстас смотрел на него и, как это уже не раз случалось прежде, исполнился глубочайшим сочувствием к бедняжке Элис. Тридцать лет с Фредом Поулшотом – даже представить невозможно! Впрочем, такова семейная жизнь. И он почувствовал себя необычайно довольным тем обстоятельством, что остался теперь в этом полном соблазнов мире совершенно одинок.

Шумное появление в комнате Сьюзен как раз в этот момент несколько не изменило его довольства своей жизнью. Верно, она обладала заведомо привлекательным качеством – юностью, но даже ее чудаковатое и слегка комичное очарование девушки-подростка не отменяло того факта, что она носила фамилию Поулшот и, подобно всем Поулшотам, была невыразимо скучна. Самым большим комплиментом для нее могло служить только то, что

¹³ У. Вордсворт. Нарциссы.

она все же была гораздо интереснее Джима. Хотя что такое Джим? В свои двадцать пять лет он представлял собой абсолютно пустое место, и лучшее, чего мог добиться, – это стать сравнительно преуспевающим биржевым маклером году эдак в 1949-м. Вот что значило избрать себе папашей такого человека, как Фред. А вот у Себастьяна хватило ума, чтобы его зачали Барнак и самая очаровательная из всех по-цыгански безответственных женщин.

– Так ты рассказала ему о моем свище? – пристал к жене мистер Поулшот.

Но Элис сделала вид, что не расслышала вопроса.

– Кстати, о скачках по Флоренции, – сказала она нарочито громко, – ты никогда не встречался там с сыном кузины Мэри?

– Ты говоришь о Бруно Ронтини?

Миссис Поулшот кивнула.

– Я все никак не возьму в толк, почему она вышла за своего итальянца. Что она в нем нашла? – В ее тоне звучало неодобрение.

– Да, но признай, что даже итальянцы внешне очень похожи на людей.

– Не дури, Юстас. Ты прекрасно понял, что я имела в виду.

– Да, но как бы ты взбеленилась, если бы нечто подобное сказал я, – заметил Юстас с улыбкой.

Потому что в подтексте ее фразы лежало откровенное предубеждение и снобизм, укоренившееся недоверие к иностранцам и буржуазное убеждение, что все не слишком удачливые в жизни люди в чем-то непременно аморальны.

– Папа был бесконечно добр к этому человеку, – продолжила миссис Поулшот. – Я и сейчас помню, сколько возможностей он открыл перед ним!

– А старый и мудрый Карло благополучно все испоганил!

– Мудрый?

– Конечно, он добился этим того, что ему готовы были платить четыре фунта в неделю, лишь бы он держался подальше от текстильных фабрик и уехал в свою Тоскану. Разве это не признак мудрости?

Юстас допил херес и поставил бокал на стол.

– А его сынок до сих пор хозяйничает в своем букинистическом магазине, – продолжал он. – Мне нравится этот забавный Бруно, несмотря на его нелепую религиозность. Он не признает Бога, кроме как в виде Газообразного Позвоночного!

Миссис Поулшот рассмеялась. В семье Барнак определение Бога, данное Геккелем, было предметом шуток уже лет тридцать.

– Газообразное Позвоночное, – повторила она. – Но стоит вспомнить, в каких условиях он воспитывался! Кузина Мэри таскала его на все эти собрания квакеров, когда он был совсем маленьким мальчиком. К квакерам! – воскликнула она, словно сама себе не верила.

Появилась служанка из столовой и объявила, что ужин подан. Активная и подвижная Элис тут же оказалась на ногах. Ее брату принять вертикальное положение стоило куда большего труда. Все остальные члены семьи тоже двинулись к двери. Мистер Поулшот встал у выключателя и, как только последний его родственник покинул гостиную, выключил свет.

Когда они спускались вниз в столовую, Юстас положил руку на плечо Себастьяну.

– Ты не представляешь, насколько дьявольски трудно было мне уговорить твоего отца, чтобы он разрешил тебе погостить у меня, – сказал он. – Он страшится, что я приучу тебя к образу жизни богатого бездельника. К счастью, нам удалось загнать его в угол с помощью аргументов в пользу изучения культуры, так ведь, Элис?

Миссис Поулшот сдержанно кивнула. Ей не нравилась привычка брата обсуждать дела взрослых в присутствии детей.

– Да, Флоренция как часть либерального образования, – сказала она.

– Точно. Из серии «Что должен знать каждый юноша».

Внезапно свет погас и на лестнице. Даже в самой черной меланхолии Фред никогда не пренебрегал любыми способами сэкономить.

Они вошли в столовую – все еще оклеенную красными обоями и такую же почти принципиально безобразную, отметил Юстас, – и заняли свои места.

– Якобы черепаховый, но не настоящий, – пояснила Элис, когда служанка поставила перед ним тарелку с супом.

Фальшивый черепаховый суп – что же еще! Его дорогая сестра неизменно демонстрировала истинный талант, выбирая к ужину худшие блюда английской кухни. Из принципа. Улыбнувшись одновременно и ласково, и чуть иронично, Юстас положил отечную руку поверх костлявых пальцев Элис.

– Это не имеет значения, милая. Просто я так давно не сживал за твоим всегда гостеприимным столом.

– Здесь нет моей вины, – отозвалась миссис Поулшот; в ее голосе появился оттенок горечи и неожиданной дерзости. – Этот стол всегда накрывали в соответствии со вкусами отца, а он, вероятно, слишком себя уважал, чтобы набивать брюхо икрой, которой питаются даже свиньи.

Юстас рассмеялся, сохраняя неизменно доброе расположение духа. Двадцать три года назад он неожиданно бросил весьма успешную, по мнению многих, карьеру политика радикального толка, чтобы жениться на богатой вдове со слабым сердцем и уехать во Флоренцию. И этого ему так никогда до конца не простили ни сестра, ни брат, хотя по разным причинам. Для Джона его поступок стал вопиющей изменой своим политическим воззрениям. А Элис восприняла его брак как очередное оскорбление памяти отца, как рану, нанесенную семейной гордости. Они были третьим поколением скромно, но достойно живущего семейства Барнак, и, если не считать двоюродного дедушки Люка, о котором старались даже не вспоминать, Юстас стал первым перебежчиком во враждебный лагерь наслаждавшегося роскошью сословия действительно богатых людей.

– Оч-чень хорошо, – сказал он тоном человека, оценившего особенно точный удар на бильярдном столе.

Имея шесть тысяч годового дохода, он мог позволить себе великодушие. А кроме того, совесть никогда его не тревожила. Все пять лет их короткой совместной жизни он был для своей любимой Эми таким хорошим мужем, какого она могла только желать. А почему человек, наделенный живым умом и умением чувствовать, должен стыдиться ухода из мира политики, он не понимал вообще. Отвратительные закулисные интриги! Сознательное или подсознательное лицемерие в речах ради завоевания публичной популярности! Ослиная тупость бесконечного повторения одних и тех же прописных истин, лишенных логики споров с одними и теми же вульгарными оппонентами, обращение к дурным историческим примерам и ни на чем не основанным пророчествам! И это предлагалось считать высшим предназначением для талантливого мужчины? А если он предпочел политике жизнь цивилизованного и разумного человеческого существа, то должен был устыдиться этого?

– Оч-чень хорошо, – повторил он. – Но какой же ты стала непримиримой пуританкой, моя дорогая. Причем не имея на то ни малейшего метафизического оправдания.

– Метафизического, – сказала миссис Поулшот с таким презрением, словно была заведомо выше подобных благоглупостей.

Тем временем суповые тарелки унесли и на стол поставили блюдо с седлом барашка. Молча и нисколько не изменив выражения глубокого страдания на лице, мистер Поулшот взялся за разделку мяса на порции.

Юстас посмотрел на него, потом снова на Элис. Его несчастная сестра следила за Фредом с заботливой мукой в глазах, желая, несомненно, чтобы ее угрюмое престарелое дитя вело себя примерно хотя бы в присутствии гостей. И быть может, потому, подумал Юстас,

быть может, из-за этого она говорила дерзости ему. Превознося мужа за счет унижения брата. Бездумно, нелогично, но по-человечески так понятно.

– Надеюсь, мясо приготовлено по твоему вкусу, Фред, – сказала она через стол.

Не произнеся ни звука и даже не повернув головы, мистер Поулшот пожал узкими плечами.

Не без усилия оторвав от него взгляд, миссис Поулшот повернулась к Юстасу.

– Мой бедный Фред сейчас в ужасном состоянии из-за своего свища, – сказала она, стараясь компенсировать недостаток внимания к этой теме, проявленный ею в гостиную.

Вошла старушка Эллен с тарелкой овощей, и за ней следом в столовую проник чуть подросший котенок, принявшийся тереться о ножку стула Элис. Она наклонилась и взяла его на руки.

– Привет, Онегин! – Она почесала пушистого зверька за ушком. – Мы называли его Онегин, потому что он – последний шедевр нашего недавно почившего и горько оплакиваемого Пусскина¹⁴.

Юстас вежливо улыбнулся.

Он невольно задумался о том, что для бедняжки Элис не было исхода и утешения ни в философии, ни в религии, ни в любви, ни в политике. Нет, ей оставалось только чувство юмора эдвардианской эпохи и еженедельный номер журнала «Панч». И все же безвкусная игра слов и эксцентричное поведение в стиле 1912 года были предпочтительнее жалости к себе и полной капитуляции перед дурным настроением Фреда, на которую оказались готовы все остальные за этим столом. А, видит бог, не капитулировать было трудно. Сидевший за горой баранины на блюде Фред Поулшот излучал негативизм. Его волны ощутимо били в тебя, проникали радиацией, которая могла служить совершеннейшей антитезой нормальной жизни, полным отрицанием доброты и человеческого тепла. И Юстас решил попытаться изменить атмосферу.

– А скажи мне, Фред, – заговорил он самым непринужденным тоном. – Как там дела в Сити? Мы можем рассчитывать на щедроты Востока? Надеюсь, деловая активность в порядке?

Мистер Поулшот поднял злой взгляд, который все же почти мгновенно смягчился.

– Положение таково, что хуже и быть не может, – провозгласил он.

Юстас вздернул брови, не слишком натурально изобразив на лице тревогу.

– Боже милостивый! И как же это скажется на моих дивидендах от южнокитайского банка «Янцзы»?

– Уже ходят разговоры, что доходность их акций в этом году упадет.

– Господи!

– С восьмидесяти процентов до семидесяти пяти, – угрюмо сказал мистер Поулшот и повернулся, чтобы положить себе овощей. Он снова погрузился в молчание, которое сразу обьяло весь стол.

Насколько же менее ужасным стал бы характер этого человека, размышлял Юстас, пока он поедал баранину с брюссельской капустой, если бы он был способен хотя бы раз в жизни выйти из себя, устроить бешеный скандал, напиться в хлам или переспать со своей секретаршей (хотя секретарше надо бы заранее посочувствовать)! Но в натуре Фреда полностью отсутствовал даже намек на возможность буйства, насилия, измены. И не будь он настолько невыносим, из него мог получиться отличный муж. Ему нравилась рутина семейной жизни, нарезка баранины, чтение нотаций детям, как нравилась роль (кем он там был?) исполнительного секретаря или казначея в своей «Фар-Истерн, как бишь ее» компании из Сити. Но вся проблема и состояла в том, что он весь пропитался этой рутинной, стал образцом

¹⁴ От *англ.* puss – кошечка.

в регулярности совершения однообразных действий. Выругаться? Взбеситься? Изменить своей бедной доброй Элис? Нет. Он скорее ограбил бы собственную фирму. Фред вынимал из людей душу, но совершенно иным способом. Причем ему для этого не надо было ничего делать. Одного его присутствия оказывалось достаточно. У людей мороз пробежал по коже, и они стремились поскорее отвернуться от него, словно боялись подцепить инфекцию.

Внезапно мистер Поулшот нарушил тягостное молчание и глухим, лишенным всякого выражения голосом попросил передать ему желе из красной смородины. Вздвогнув, как если бы его окликнули из какого-то другого мира, Джим стал лихорадочно осматривать стол.

– Вот оно, Джим. – Юстас Барнак подвинул ближе к нему блюдо.

Джим окинул его благодарным взглядом и передал блюдо отцу. Мистер Поулшот взял его без единого слова или улыбки, переложил часть содержимого на свою тарелку, а потом с явным намерением найти еще одну виновницу своих несчастий не вернул блюдо Джиму, а протянул в сторону Сьюзен, которая как раз готовилась поднести вилку ко рту. Как он предвидел, чего и добивался, мистеру Поулшоту пришлось ждать с выражением мученического терпения на лице, пока Сьюзен поспешно запихивала себе в рот кусок баранины, с шумом роняла нож и вилку на стол и, покраснев, забирала протянутое ей желе.

Сидя в первом ряду партера перед сценой, где разыгрывалась эта комедия, Юстас восхищенно улыбнулся. Какое блестяще отточенное проявление желания повелевать, какая утонченная жестокость! И изумительный дар заражать все и вся унынием, которое подавляет самый высокий дух, уничтожает малейшую возможность для проявления радости жизни! Воистину, никто не осмелился бы упрекнуть Фреда в том, что он зарыл свой талант в землю.

Тишина снова воцарилась в комнате. Тишина, такая бывает в помещениях, где устанавливают гроб с телом покойного. Миссис Поулшот изо всех сил старалась придумать, что сказать – нечто умное, что-то вызывающе смешное, но ей ничего не приходило в голову, вообще ничего. Фред пробил ее оборону и добрался до центра, парализующего речь, останавливающего саму жизнь, засыпав источник энергии песком и пеплом. Она сидела в полнейшем изнеможении, осознавая сейчас, какая усталость накопилась в ней за тридцать лет непрерывной защиты и робких попыток переходить в контратаки. И словно почувствовав, что хозяйка потерпела очередное поражение, спавший у нее на коленях котенок развернул свой клубок, потянулся и бесшумно спрыгнул на пол.

– Онегин! – воскликнула она и протянула руку, но малыш ускользнул из-под ее пальцев, гладкий и по-змеиному гибкий. Не будь она уже столь зрелой и разумной женщиной, миссис Поулшот разразилась бы слезами.

Молчание продолжалось, усугубившись теперь тиканьем бронзовых часов на каминной полке, которое почему-то только сейчас стало различимым. Юстас, решивший поначалу, что будет даже занятно понаблюдать, как долго сможет продолжаться столь невыносимая ситуация, внезапно почувствовал вскипавшее внутри своего существа чувство жалости и одновременно возмущение. Элис нуждалась в поддержке, и будет чудовищно, если эта мерзкая тварь, этот глист снова оставит победу за собой. Юстас откинулся на спинку стула, промокнул салфеткой губы и, оглядевшись по сторонам, жизнерадостно улыбнулся.

– Взбодрись, Себастьян, – окликнул он юношу через стол. – Надеюсь, ты не будешь таким мрачным, когда через неделю приедешь погостить ко мне?

Чары вдруг оказались развеяны. Усталость Элис Поулшот как рукой сняло, и она снова обрела дар речи.

– Не забывай, – сказала она с долей лукавства, пока мальчик что-то пытался прояснить в ответ, – что наш милый Себастьян обладает подлинным поэтическим темперамен-

том, – и с раскатистым «р» в манере старых декламаторов она процитировала: – «Р-рыдания из глубин божественной души, р-разверстой пред тобой»¹⁵.

Себастьян залился краской и закусил губу. Он очень любил тетю Элис. Любил настолько, насколько она позволяла кому-либо себя любить. Но все же бывали моменты – и это был один из них, – когда им овладевало желание придушить ее. Подобными мимолетными и легкомысленными ремарками она оскорбляла не только его самого, но и красоту, поэзию, величие гения, то есть все, что находилось за пределами ее слишком упрощенного обывательского понимания.

Юстас прочитал мысли, отразившиеся на лице племянника, и не мог не посочувствовать ему. Элис умела становиться до странности бесчувственной, отметил он. Причем из принципа. Как из принципа предпочитала скверные блюда. Он тактично и плавно попытался сменить тему. Вот Элис только что вспомнила строку Теннисона. А как воспринимает его творчество молодежь в наши дни?

Но миссис Поулшот никому теперь не давала увести разговор в сторону. На ней лежала ответственность за воспитание Себастьяна, и если бы она позволила ему своевольно предаваться своим настроениям, плохая бы из нее вышла воспитательница. Ведь только потому, что тупая мамаша всегда потакала Фреду во всех капризах, он теперь вел себя, как ему заблагорассудится.

– Или, возможно, – продолжала она все более грубо, явно показывая, что собирается преподать кое-кому урок, – мы имеем здесь дело с первой любовью. «Влюбившийся впервые, познай все сожаления и горести»¹⁶. Хотя у мальчиков бывают и обычные проблемы с желудком, и тогда нам нужна лишь порция горькой эпсомской соли.

При упоминании об эпсомской соли молодой Джим просто зашелся от хохота, пользуясь редкой возможностью, поскольку сидел рядом с главным источником сумрачного настроения за столом. Сюэзен бросила на окончательно побагровевшего Себастьяна утешающий взгляд. Потом обратила взор, исполненный упрека, на брата, но тот не заметил его.

– Что ж, тогда я дополню вашего Теннисона фрагментом из Данте, – сказал Юстас, снова приходя на помощь Себастьяну. – Помните? Это круг пятый Ада.

Tristi fummo

Nell' aer dolce che del sol s'allegria¹⁷.

А все потому, что при жизни они предавались печали, их приговорили провести вечность в болоте, где их мелкая Weltschmerz¹⁸ пузырями поднимается сквозь жижу, как болотный газ. Поэтому тебе лучше быть осторожнее, приятель, – заключил он с притворной угрозой, но с улыбкой, означавшей, что он целиком на стороне Себастьяна и понимает его чувства.

– Ему нет нужды волноваться о мире ином, – сказала миссис Поулшот достаточно резко. Она так ненавидела чепуху о бессмертии души и загробной жизни, что не желала слышать об этом даже в виде шутки. – Меня беспокоит, что с ним будет, когда он вырастет.

Джим снова расхохотался. Юность Себастьяна казалась ему почти такой же смешной, как его вероятная потребность в слабительном.

Этот повторный взрыв его смеха заставил мистера Поулшота выйти из оцепенения и начать действовать. Юстас, понятное дело, был попросту гедонистом, и даже от Элис он

¹⁵ А. Теннисон. Принцесса.

¹⁶ Там же.

¹⁷ «Мы были скучны в блестящем солнцем воздухе» (ит.).

¹⁸ Мировая скорбь (нем.).

не мог ожидать ничего другого. Она всегда оставалась (ее единственный недостаток, но насколько же огромный и непростительный!) чудовищно бесчувственной к его внутренним страданиям. Но, к счастью, хотя бы Джим отличался от них в лучшую сторону. В отличие от Эдварда и Марджори, которые в этом отношении полностью походили на свою мать, Джим всегда проявлял к нему должное уважение и сострадание. И то, что он сейчас настолько забылся, что рассмеялся дважды, стало источником удвоенной боли – двойным оскорблением его чувств, прервавшим течение горестных размышлений о сокровенном; и боль делалась только острее, потому что подрывала веру в добрые начала, заложенные в этом молодом человеке. Подняв глаза, которые он сознательно и долго держал упертыми лишь в стоявшую перед ним тарелку, мистер Поулшот посмотрел на сына с выражением глубокого сожаления. Джим уклонился от этого исполненного упрека взгляда и, дабы скрыть свое смущение, поспешил набить рот хлебом. Почти шепотом мистер Поулшот наконец заговорил.

– Ты знаешь, какой сегодня день? – спросил он.

Ожидая выговора, черед которого, видимо, еще не наступил, Джим покраснел и с набитым ртом произнес, что, как ему казалось, сегодня двадцать седьмое число.

– Двадцать седьмое марта, – поправил его мистер Поулшот. Он медленно склонил голову выразительным кивком. – В этот день одиннадцать лет назад от нас ушел твой бедный дедушка. – Он на секунду снова уперся взглядом в лицо Джима, с удовлетворением отмечая, как на нем появились признаки растерянности, а потом снова опустил очи долу и погрузился в молчание, предоставив молодому человеку самому в полной мере пережить стыд за свое поведение.

На противоположном конце стола в один голос смеялись над какими-то общими детскими воспоминаниями Элис и Юстас. Мистеру Поулшоту оставалось только испытывать жалость к этим людям, столь бессердечным и нечутким к более возвышенным чувствам других. «Прости им, ибо не ведают, что творят», – сказал он про себя, а затем, мысленно отгородившись от их бессмысленной болтовни, сосредоточился на реконструкции в памяти подробностей непростых переговоров, которые он вечером двадцать седьмого марта 1918 года провел с представителем похоронной конторы.

V

В гостиной, когда с ужином было покончено, Джим и Сьюзен уселись за шахматную партию, в то время как остальные расположились ближе к очагу. Совершенно завороченный, Себастьян наблюдал, как его дядя Юстас раскуривал «Ромео и Джульетту»¹⁹, которую, хорошо зная принципы Элис и скаредные привычки Фреда, предусмотрительно принес с собой. Сначала ритуал обрезки, потом, когда сигара подносилась ко рту, счастливая улыбка предвкушения. Влажные воделеющие губы сомкнулись у конца; вспыхнула спичка, ее пламя словно втянуло внутрь. И совершенно неожиданно Себастьяну это напомнило младенца кухни Марджори, слепо тыкавшегося носом в грудь, выискивая сосок, затем хватая его и сжимая мягкими, но жадными и цепкими губами, чтобы начать сосать, сосать и сосать в самозабвенном трансе наслаждения. Верно, сравнение хромало, потому что у дяди Юстаса манеры все же были более изящными, а сосок в данном случае имел цвет хорошо прожаренного кофе и шесть дюймов в длину. Но перед мысленным взором Себастьяна все равно начали проплывать странные образы и стали складываться слова в гротескном и пародийно героическом построении.

Младенец преклонных годов губами обьял похотливо

¹⁹ Дорогой сорт гаванских сигар.

Ту влажную смуглую грудь, что сделала б честь королеве
Любого дикарского племени...

Стихотворение оборвали: внезапно открылась и с грохотом захлопнулась входная дверь. В комнату вошел Джон Барнак и сразу направился к софе, на которой расположилась миссис Поулшот.

– Извини, но я никак не успевал к ужину, – сказал он, положив ладонь ей на плечо. – Но мне представилась уникальная возможность повидаться с Качегвидой. И между прочим, – добавил он, оборачиваясь в сторону брата, – он сообщил мне, что у Муссолини определенно развился рак горла.

Юстас оторвал от губ табачный сосок и снисходительно улыбнулся.

– На этот раз проблема, значит, в горле? Знакомые мне антифашисты предпочитают все время говорить о печени.

Джон Барнак был обижен его словами, но сделал над собой усилие, чтобы не показать этого.

– Качегвида – надежный источник информации, – сказал он уже несколько более сдержанно.

– Я слышал, как кто-то говорил, что не любит выдавать желаемое за действительное, или мне показалось? – спросил Юстас так спокойно, что мог кого угодно вывести из себя.

– Конечно, ты цепляешься теперь за эти слова, – сказал Джон. – Ты их запомнил, потому что можешь использовать, чтобы принизить значение крупного политического вопроса и осмеять героев, борющихся за правое дело.

Он говорил своим обычным размеренным и превосходно поставленным голосом, но его подлинные чувства выдавала чуть повышенная громкость и едва заметные вибрирующие обертона.

– Циничный реализм – вот превосходный предлог для интеллигентного человека отойти в сторону и ничего не предпринимать в совершенно нестерпимой ситуации.

Элис Поулшот переводила взгляд с одного на другого и могла только сожалеть, что братья начинали вздорить при каждой встрече. Почему бы Джону просто не смириться с тем фактом, что Юстас отчасти старая свинья, и не закрыть вопрос раз и навсегда? Но нет, он обязательно начинал злиться в свойственной ему манере, еще и пытаясь подавлять эмоции, чтобы непременно всех убедить в своем моральном превосходстве. И Юстас хорош! Зачем ему нужно все время провоцировать эти стычки, размахивая под носом у оппонента красными политическими тряпками и вонзая в него отравленные стрелы? Но оба были безнадёжны.

– Царь Бревно или Царь Аист? – с прежней невозмутимостью спросил Юстас. – Лично я всегда бы предпочел старое доброе бревно. Чтобы избежать роковой ошибки. А подобное умение являет собой наивысшую из добродетелей.

Стоя рядом с камином, опустив руки по швам, широко расставив ноги, с очень прямым и напряженным телом, как борец, готовящийся вступить в схватку, Джон Барнак смотрел сверху вниз на своего брата спокойным, немигающим, пронизывающим взглядом, который в суде он когда-то приберегал для неугодных или изолгавшихся свидетелей. Это был тот взгляд, который, даже если он был направлен на других, внушал Себастьяну невыразимый страх. Но Юстас лишь поудобнее устроился на мягкой софе, прикрыл глаза и нежно взасос поцеловал кончик своей сигары.

– И как я полагаю, – сказал Джон Барнак после продолжительной паузы, – ты мнишь себя одним из величайших приверженцев этой добродетели?

Юстас выпустил облако ароматного дыма и ответил, что старается им быть.

– Ты стараешься, – повторил за ним Джон, – но, насколько мне известно, держишь, например, крупный пакет акций южнокитайского банка «Янцзы», не так ли?

Юстас кивнул.

– И жирея на эксплуатации чужого труда в Китае и Японии, ты к тому же владеешь долей в джутовых компаниях, верно?

– Очень прибыльной долей, – сказал Юстас.

– Очень прибыльной, не сомневаюсь. Тридцать процентов дохода в самый неудачный год. И их приносят тебе индийцы, на чей дневной заработок нельзя купить даже трети вот этой твоей сигары.

Мистер Поулшот, все время сидевший в угрюмом молчании, совершенно забытый, вдруг вмешался в разговор.

– Там дела шли отлично, пока на плантациях не появились агитаторы, – сказал он. – Начали создавать профсоюзы, настраивать рабочих против хозяев. Их всех надо расстрелять. Да, взять и поставить к стенке! – закончил он с яростным напором.

Джон Барнак расплылся в ироничной улыбке.

– Не переживай, Фред. Сити об этом позаботится.

– О чем это ты? – раздраженно спросила Элис. – Сити находится в Лондоне. А мы говорим об Индии.

– Верно, Сити здесь, но его агенты – там. И это парни, вооруженные автоматами. Агитаторы, упомянутые Фредом, непременно схлопочут пули, а сидящий здесь Юстас сможет и дальше разглагольствовать о своем добродетельном умении избегать ошибок, держась так, словно все это его не касается, с той неподражаемой грацией, которая нам так в нем нравится.

Наступило молчание. Себастьян, который от души желал, чтобы его отец потерпел в этом споре сокрушительное поражение, в отчаянии смотрел на дядю. Но тот вовсе не сидел понуро, сокрушенный аргументами оппонента, а, напротив, почти бесшумно хохотал.

– Браво! Восхитительно! – воскликнул он, когда отсмеялся и восстановил дыхание. – Просто потрясающе! А теперь по всем правилам, Джон, тебе следует отбросить в сторону всякий сарказм и выдать пять минут чистого пафоса и праведного гнева. Пять минут душевной речи мужчины, который умеет говорить прямо и без обиняков. После чего жюри присяжных признает меня виновным по всем статьям, даже не удаляясь в совещательную комнату, и вынесет частное определение, что судебным исполнителям следует передать меня в руки избранного народом трибунала. Народный трибунал! – звучно повторил он. – И каждый член в классическом модном костюме. Но, между прочим, как на самом деле называется та разновидность римской тоги, в которую облачаются рвущиеся к власти джентльмены наших дней, чтобы их желание править не выглядело столь уж вопиюще откровенным? Тебе знаком этот термин, Себастьян, я в этом уверен.

А когда Себастьян отрицательно помотал головой, продолжал тем же повышенным тоном:

– Боже, чему же они вас сейчас учат в школах? Потому что тоге этой имя – идеализм. Да, моя дорогая, – продолжал он, обращаясь теперь к Сьюзен, которая давно оторвалась от шахмат и с удивлением слушала его. – Поверь мне. Это чистейшей воды идеализм.

Джон Барнак притворно зевнул, прикрыв рот ладонью.

– Признаюсь, скучновато внимать этим дешевым психологизмам, от которых несет затхлостью семнадцатого века, – сказал он.

– Да ладно, просто скажи нам, – заметил на это Юстас, – на что рассчитываешь лично ты, чего ты потребуешь, когда к власти придут нужные тебе люди? Назначения генеральным прокурором, никак не меньше, как я подозреваю.

– Право, Юстас, – твердо сказала миссис Поулшот. – Ты перегибаешь палку. Довольно!

– Ах, все-таки довольно? – переспросил Юстас, изобразив возмущение. – Стало быть, ничтожного поста генерального прокурора будет достаточно? Хотя, думаю, ты все же недооцениваешь своего брата. Но в самом деле, Джон, – продолжал он уже совершенно с другой интонацией, – давай перейдем к более серьезным делам. Мне неизвестны твои планы, но мне в любом случае нужно выехать во Флоренцию уже завтра. Во вторник я жду в гости свою тещу.

– Старую миссис Гэмбл? – Элис удивленно оторвала взгляд от своего вязания. – Ты хочешь сказать, что она до сих пор мотается по Европе? В ее-то возрасте?

– Ей восемьдесят шесть, – сказал Юстас, – но если не считать катаракты, от которой она практически ослепла, то в остальном у нее полный порядок.

– Боже милостивый! – воскликнула миссис Поулшот. – От души надеюсь, что не дотяну до таких преклонных лет! – Она выразительно помотала головой, ужаснувшись при мысли, что ей еще тридцать один год предстоит тащить на себе этот дом, терпеть депрессии Фреда и полнейшую бессмыслицу собственного существования.

Юстас снова обратился к брату:

– Так когда вы вдвоем собираетесь в путь?

– В следующий четверг. Но нам придется остановиться на ночевку в Турине. Мне нужно встретиться кое с кем из соратников Каччегвиды, – объяснил Джон.

– Стало быть, Себастьяна ты доставишь ко мне в субботу?

– Предпочту, чтобы он доставил себя сам. Мне придется сойти в Генуе.

– О, значит, сам ты ко мне не приедешь?

Джон Барнак покачал головой. Пароход отплывает из Генуи в тот же вечер. Три или четыре недели ему предстоит провести в Египте. А потом партийная газета ждет от него репортажей о положении коренного населения Кении и Танганьики.

– Кстати, когда будешь в тех краях, – сказал Юстас, – выясни, пожалуйста, почему так упал курс моих акций Восточно-Африканской кофейной компании.

– Это я могу тебе объяснить прямо здесь и сейчас, – отозвался его брат. – Несколько лет назад кофейный бизнес приносил баснословные доходы. Результат: миллионы акров новых плантаций и множество безрассудных алчных свиней из Лондона и Парижа, Амстердама и Нью-Йорка, ринувшихся вкладывать капиталы в кофейную золотую жилу. А ныне наступил предсказуемый кризис перепроизводства зерен, и цены так упали, что даже почти бесплатный каторжный труд чернокожих рабочих не может обеспечить тебе желанных дивидендов.

– Скверно!

– Ты и в самом деле так думаешь? Тогда подожди, пока твое искусное умение избегать ошибок не приведет к восстаниям в колониях и к революции в нашем собственном доме!

– К счастью, – сказал Юстас, – нас к тому времени уже не будет в живых.

– Я бы не был в этом так уверен на твоем месте.

– Мы все можем так же зажитья на этом свете, как несчастная миссис Гэмбл, – заметила Элис, пытаясь вообразить себе, как будут выглядеть они с Фредом в 1950 году.

– Этого не потребуется, – сказал Джон Барнак с мстительно удовлетворенным видом. – Все произойдет гораздо раньше, чем вы можете ожидать. – Он посмотрел на часы. – Что ж, меня еще ждет работа, а завтра вставать с петухами. Поэтому вынужден пожелать всем спокойной ночи, Элис.

У Себастьяна бешено заколотилось сердце, и он снова почувствовал приступ дурноты. Он пришел – самый последний момент, оставалась всего лишь одна возможность. Поэтому он набрал полные легкие воздуха, встал и подошел к тому месту, где стоял отец.

– Спокойной ночи, папа, – сказал он, а потом: – Да, между прочим, – добавил он самым небрежным тоном, на какой только был способен, – ты не думаешь, что мне пора... То есть я уже достаточно взрослый... Словом, что я должен иметь настоящий вечерний костюм?

– Должен? – повторил отец. – Именно должен? То есть мы имеем дело со случаем категорического императива, так?

И он внезапно разразился кратким, но оттого только более пугающим смехом.

Совершенно потерянный, Себастьян бормотал нечто в том смысле, что настоящей необходимости действительно не было, когда он просил в последний раз, но сейчас... Сейчас вопрос приобрел реальную важность. Его пригласили на ответственный прием.

– Приемом ты, разумеется, называешь обычную вечеринку, – сказал мистер Барнак и вспомнил, с каким энтузиазмом произносила Роузи ненавистное ему словечко, как загорались ее глаза при звуках музыки и шума толпы гостей, вспомнил и необузданное веселье, которому она предавалась с такой охотой. – Куда уж категоричнее, – саркастически добавил он.

– У твоего отца в последнее время было слишком много расходов, – влезла миссис Поулшот с наилучшими намерениями. Ей хотелось смягчить для Себастьяна столкновение с жесткой непримиримостью своего отца. В конце концов, не одна Роузи была во всем виновата. Джон всегда проявлял к людям излишнюю требовательность, еще будучи мальчишкой. А теперь в придачу ко всему он еще и отравлял жизнь окружающих своими смехотворными политическими принципами. Но от его требовательности и принципиальности деваться было некуда – такова реальность. А Себастьян – очень ранимый. И это тоже реальность. Вот почему она всегда стремилась отделить эти две реальности друг от друга, не давая им сталкиваться лоб в лоб. Но в данном случае ее попытка была хуже, чем просто бесплодной.

– Моя дражайшая Элис, – произнес Джон Барнак вежливо, но абсолютно решительно. – Вопрос заключается не в том, могу ли я себе позволить приобрести этому юноше модный наряд. (Эти слова вызвали в памяти красные бархатные бриджи леди Каролины Лэм, переодетой в пажа Байрона, роль которого взял тогда на себя молодой Том Хиллиард.) Суть проблемы – правильно ли будет поступить подобным образом?

Юстас оторвал губы от соска сигары и заявил, что такого рода рассуждения стократ хуже Савонаролы.

Но Джон Барнак выразительно помотал головой:

– Это не имеет никакого отношения к христианскому аскетизму. Мы говорим о достойной линии поведения. Человек не должен пользоваться случайно доставшимися ему, ничем не заслуженными привилегиями. *Noblesse oblige*²⁰.

– Очень хорошо, – сказал Юстас, – но ты начинаешь с того, что сам ставишь человека в положение, которое его к чему-то обязывает. А это чистейшее насилие над личностью.

– Себастьян совершенно лишен всякого понимания своей ответственности перед обществом. Ему придется научиться этому.

– А не то же ли самое внушает сейчас Муссолини всему итальянскому народу?

– И вообще, – снова вмешалась миссис Поулшот, обрадованная возможностью побороться на стороне Себастьяна совместно с союзником, – почему мы поднимаем столько шума из-за элементарного вечернего костюма?

– Из-за жалкого смокинга, – подхватил Юстас таким тоном, словно желал как можно скорее низвести этот спор до уровня самого низкого фарса, – из-за грошовой тряпки. Кстати, это напоминает мне моего молодого человека из Уокинга. Ты, быть может, не знаешь об этом, Себастьян, но я тоже когда-то пробовал себя в роли поэта.

Молодой человек из Уокинга
В божий храм не являлся без смокинга.

²⁰ Положение обязывает (*фр.*).

Он надел бы и фрак, только был не дурак
Этот юный пижон из Уокинга.

Ты, видимо, добиваешься, Джон, чтобы Себастьян попросил тебя купить ему фрак.

Перенервничав, Себастьян начал неестественно громко хохотать, но потом, заметив суровое не улыбочное лицо отца, его жестко поджатые губы, резко оборвал смех.

Юстас подмигнул ему, наморщив свои пухлые веки.

– Спасибо за ваши аплодисменты, – сказал он, – но, боюсь, главному адресату моя поэзия не пришлась по вкусу.

Миссис Поулшот попыталась скрасить эффект от неудачной, с ее точки зрения, шутки Юстаса, грозившей только все испортить.

– Если разобраться, – сказала она, возвращая беседу на серьезные рельсы, – что такое смокинг? Не более чем глупая мелкая условность, вот и все.

– Согласен – глупая, – ответил Джон своим размеренным и рассудительным тоном. – Однако там, где речь заходит о символах классовых различий, ни одну условность невозможно считать мелкой.

– Но, папа, – сказал Себастьян, – у всех парней моего возраста есть смокинги.

Его голос от переполнявших эмоций сделался почти визгливым.

Склонившаяся над шахматной доской Сьюзен все слышала, распознала сигнал опасности и мгновенно вскинула взгляд. Лицо Себастьяна налилось пунцовым румянцем, губы уже начали подрагивать. Сейчас он необычайно походил на маленького мальчика. Обиженного маленького мальчика, беззащитного перед жестокостью взрослых. Сьюзен охватила волна любви и жалости к нему. «Но как же неуклюже повел себя в этой ситуации он сам!» – подумала она и вдруг разозлилась; не вопреки любви и жалости, а именно потому, что так беспокоилась за него. Какого дьявола он до сих пор не научился хотя бы немного владеть собой! А если это искусство не давалось, лучше было бы просто помалкивать.

Джон Барнак несколько секунд молча смотрел на сына – смотрел пристально, видя перед собой новое воплощение своей безответственной и легкомысленной жены, которая его предала, но теперь уже покоилась в могиле. Потом он снова скривился в саркастической улыбке.

– У всех парней, – повторил он, – у всех до единого.

Теперь он применял те речевые приемы, которые когда-то пускал в ход в суде, чтобы дискредитировать перед присяжными ключевых свидетелей противоположной стороны, и потому добавил с презрительной иронией:

– Ну, разумеется, у сыновей безработных шахтеров Южного Уэльса сейчас как раз в моде фраки и белые галстуки, не говоря уже об обязательном цветке гардении в петлице. А теперь, – скомандовал он безапелляционно, – марш в постель, и чтобы ты больше никогда не приставал ко мне с подобным вздором!

Себастьян развернулся и, лишившись дара речи, бросился вон из комнаты.

– Твой ход, – нетерпеливо напомнил Джим.

Сьюзен посмотрела на доску, заметила черного коня, стоявшего под боем ее ферзя, и мгновенно взяла его.

– Вот тебе! – с яростью прошептала она. Черным конем был сейчас для нее дядя Джон.

Но Джим тут же с триумфом переместил свою ладью по всей вертикали, и ее ферзь пал жертвой.

– Шах! – громогласно объявил он.

Три четверти часа спустя, уже переодевшись в пижаму, Сьюзен сидела по-турецки напротив газового обогревателя в своей спальне и делала записи в дневнике. «4+ по истории. 4 по алгебре. Могло быть и хуже. Мисс К. снизила мне оценку за неаккуратность, но, конечно

же, не заметила ее у своей любимой Глэдис. Это уже слишком!!! Скарлатти играла хорошо, но вот только Пфайффер снова пытался шутить с С. по поводу сигар. А потом мы встретили Тома Б. и он пригласил С. к себе на вечеринку, а С. страшно расстроился, потому что у него нет треклятого смокинга. Если бы не это, я бы, наверное, сегодня возненавидела его – он снова ходил к миссис Э., а она надела специально для него черное кружевное нижнее белье в обтяжку. Но все же я чувствую такую ужасную жалость к нему. Этим вечером дядя Дж. устроил безобразную сцену из-за смокинга. Иногда я просто готова его презирать. Дядя Ю. старался заступаться за С., но из этого ничего хорошего не вышло». Да, ничего хорошего не вышло, но хуже всего было то, что ей пришлось сидеть там, дожидаясь, чтобы уехали сначала дядя Джон, потом дядя Юстас. Но даже когда ей уже ничто не мешало отправиться спать, она не решалась пойти и утешить его из страха, что мама или Джим могут услышать и застать ее в комнате Себастьяна. Если Джим, то хохота на весь дом не оберешься, словно он увидел ее сидящей на унитазе, а мать начала бы отпускать колкости, слышать которые невыносимо, хоть умри. Но сейчас – она посмотрела на часы, стоявшие на каминной полке, – сейчас вполне безопасно. Она поднялась, заперла дневник в выдвижном ящике письменного стола, спрятав ключ в обычном месте позади зеркала. Затем она выключила настольную лампу, осторожно открыла дверь и выглянула. Света внизу – ни проблеска, а в доме стояла такая тишина, что она могла слышать тяжелые удары собственного сердца. В три шага она оказалась перед дверью, располагавшейся по другую сторону лестничной площадки. Ручка повернулась беззвучно, и так же беззвучно Сьюзен проскользнула в его комнату. Мрак в ней не был полным, потому что жалюзи не опустили до конца, и уличный фонарь через дорогу бросал через потолок узкий овальный отсвет. Сьюзен закрыла за собой дверь и замерла, вслушиваясь, но слыша поначалу по-прежнему только гулкие удары своего сердца. Затем пружины кровати чуть скрипнули, и раздался протяжный всхлипывающий вдох. Он плакал. Она импульсивно шагнула вперед, ее вытянутая перед собой рука натолкнулась сначала на медную спинку кровати, потом нащупала одеяло, а с шерсти переместилась на призрачное в полутьме белое полотно откинутой простыни. На смутно видневшейся подушке черным силуэтом вырисовывалась голова Себастьяна. Ее пальцы прикоснулись к его затылку.

– Это я, Себастьян.

– Уходи, – процедил он зло. – Уходи!

Сьюзен не сказала ничего, но тихо опустилась на край его постели. Крошечные волоски, оставленные парикмахером на шее, электричеством покалывали кончики ее пальцев.

– Ты не должен ни на что так реагировать, Себастьян, милый, – прошептала она. – Нельзя им позволять так легко ранить себя.

Она говорила с ним, конечно же, покровительственным тоном. Обращалась как с ребенком. Но он был сейчас настолько несчастен, а унижение зашло так далеко, что в нем не осталось ни гордости, ни энергии, чтобы продолжать делать хорошую мину при плохой игре. Он лежал неподвижно, позволив себе насладиться приносившим успокоение ощущением ее близости.

Сьюзен оторвала руку от его шеи и замерла, держа ее в воздухе, с перехваченным от нерешительности дыханием. Осмелится ли она? И придет ли он в ярость, если осмелится? Ее сердце еще более гулко застучало о ребра грудной клетки. А потом, с трудом сглотнув, она решилась рискнуть. Медленно ее поднятая рука стала двигаться в сумраке вперед и вверх, пока пальцы не дотронулись до его волос – этих светлых, лишенных блеска волос, вьющихся и вечно словно растрепанных ветром, но сейчас невидимых и всего лишь чуть ощущавшихся кожей ее пальцев как лоскут живого шелка. Она ждала с внутренним трепетом, готовая в любой момент услышать от него резкую просьбу оставить его в покое. Но не доносилось ни звука, и, осмелев от этой тишины, она опустила ладонь чуть ниже.

Обезволенный, Себастьян отдался ее нежности, которой при обычных обстоятельствах ни за что не допустил бы, и даже в этом самозабвении находил сейчас частичку утешения. Внезапно и без видимого повода ему пришло в голову, что именно нечто сходное с подобной ситуацией всегда виделось ему в мечтах о любовной связи с Мэри Эсдейл – или какое там еще имя могла носить темноволосая любовница, героиня его грез. Он лежал бы расслабленно на постели в полной темноте, а она, стоя рядом на коленях, ласкала его волосы и по временам склонялась, чтобы поцеловать – или это не губы ее он чувствовал у себя на устах, а прикосновение обнаженной груди. Но, конечно, правда заключалась в том, что рядом с ним сейчас находилась всего лишь Сьюзен, а не Мэри Эсдейл.

Она уже проводила рукой по его волосам смело, не таясь, так, как ей всегда этого хотелось. Кончики пальцев касались туго натянутой кожи у него за ушами и прокладывали себе путь у самых корней, а его густые и непослушные кудри скользили между пальцами, которые добирались до макушки. Снова и снова. Без устали.

– Себастьян? – прошептала она через какое-то время, но он не отозвался, а его дыхание сделалось ровным и почти неслышным.

Ее глаза уже привыкли к темноте, и она смотрела на лицо спящего, ощущая счастье и блаженство, какие порой испытывала, держа на руках младенца Марджори, но с примесью более сложных чувств – этого желания и тревоги, вкуса запретного плода, трепета своих пальцев, касавшихся его волос, и боли в груди – боли наслаждения. Склонившись, она прикоснулась губами к его щеке. Себастьян пошевелился, но не проснулся.

– Милый, – сказала она и уверенная, что он не может слышать ее, добавила: – Любовь моя. Драгоценная любовь моя.

VI

Этим субботним утром Юстас проснулся за несколько минут до девяти часов после крепкого сна без единого сновидения, в который его погрузило не спиртное, если не считать выпитой накануне около полуночи пинты темного пива под два или три крохотных бутерброда с анчоусами.

Пробуждение, конечно же, получилось болезненным, хотя привкус меди во рту ощущался меньше, как и ноющее утомление в членах оказалось не столь острым по сравнению с обычным для тоскливого утра. Верно, он слегка закашлялся, пришлось выплюнуть флегму, но этот иссушающий душу пароксизм тоже миновал быстрее, чем можно было ожидать. После ранней чашки чая и принятой ванны он снова вернул себе часть молодости.

За круглым зеркалом для бритья, отражавшим грубоватую кожу его лица, лежала Флоренция в обрамлении кипарисов, росших на террасах, окружавших склон, на котором стоял его дом. Только над Монте Морелло зависли пухлые облака, похожие на попки херувимов Корреджо из Пармы, но все остальное небо оставалось безупречно синим, а на клумбах под окном ванной гиацинты играли под лучами солнца, как резные украшения из белого оникса, лазурита и бледно-розовых кораллов.

– Жемчужно-серый! – выкрикнул он камердинеру, даже не обернувшись, и стал раздумывать, какой галстук лучше всего подойдет к костюму и радовавшей глаз погоде. В черно-белую клетку? Но в нем он будет слишком похож на самодовольного биржевика. Нет, время и место требовали чего-то в стиле «шотландки» на белом фоне из Бурлингтонской торговой галереи. А еще лучше выбрать ту ласкающую взор тонами свежего лосося штучку фирмы «Сулка».

– И розовый галстук, – добавил он. – Из недавних покупок.

Накрытый к завтраку стол украшала ваза с белыми и желтыми розами. И ей-богу, букет был составлен очень неплохо! Гвидо, кажется, успел чему-то научиться. Он вынул один из

еще не раскрывшихся белых бутонов и вставил себе в петлицу, а потом отщипнул немного выращенного в собственных парниках винограда. Затем последовала тарелка овсяной каши и два зажаренных яйца на ломтике хлеба, копченая рыба с булочкой и немного конфитюра.

За едой он читал письма.

Сначала записку от Бруно Ронтини. Вернулся ли он во Флоренцию, и если да, то почему бы ему не заглянуть однажды в магазин, чтобы поболтать и взглянуть на книги? К сему был приложен каталог новых поступлений.

Далее он вскрыл два послания от благотворительных организаций в Англии – снова эти ненасытные сиротские приюты и новый фонд для неизлечимо больных, куда ему придется отправить пару гиней, поскольку Молли Каррауэй оказалась членом попечительского совета. Но настроение заметно улучшило письмо от управляющего из его итальянского банка. Используя две тысячи фунтов свободных денег, которые он доверил им для игры на бирже, они ухитрились только за предыдущий месяц заработать для него четырнадцать тысяч лир чистоганом. На обычных перепадах обменных курсов франка и доллара. Четырнадцать тысяч... Это просто необыкновенная удача! Так и быть, он отошлет неизлечимым пятерку, а себе купит хороший подарок ко дню рождения. Возможно, какую-нибудь старинную дорогую книгу; он снова взялся за присланный Бруно каталог. Но если разобраться, кому нужно первое издание «Брани духовной» Скуполи? Или полное собрание сочинений святого Бонавентуры под редакцией францисканцев из Квараччи? Юстас отшвырнул каталог в угол и взялся за трудную задачу расшифровать длинную и почти неразборчивую эпистолу от Мопзы Шоттелиус, которую он приберег на самый конец. Карандашом и на самой дикой смеси немецкого, французского и английского языков Мопза рассказывала, чем занималась в Монте-Карло. А описание того, чем эта девушка там не занималась, легко уместилось бы на оборотной стороне почтовой марки. Насколько же занудно тщательными всегда ухитрялись быть эти немцы, насколько дотошными, пусть и экспрессивными. Хоть в сексе, хоть в войне, в учении и в науке. Всегда стремились нырнуть глубже всех и вынырнуть грязнее. Он решил отправить Мопзе в ответ красивую почтовую открытку с рекомендацией обязательно прочитав «О компромиссе» Джона Морли.

В полном согласии с принципами Морли, как только покончил с едой, он закурил одну небольшую сигару «Ларранга» из светлого табака, в которые настолько влюбился, едва попробовав первую в лондонской табачной лавке, что тут же купил про запас тысячу штук. Доктора уже все мозги ему проели из-за сигар, и он вынужден был обещать выкуривать только две в день – после обеда и после ужина. Но эти малютки были настолько слабенькими, что требовалась дюжина для оказания эффекта, сравнимого с воздействием на организм всего одной «Ромео и Джульетты». А стало быть, если он выкурит одну сейчас, одну после обеда и третью после чаепития, ограничив себя единственной большой под занавес ужина, можно будет считать, что ему удалось удержаться в отведенных врачами рамках. Он раскурил сигару и откинулся в кресле, наслаждаясь ее душистым ароматом. Потом поднялся и, дав по пути распоряжение дворецкому созвониться с Каза Аччъяиулоли и выяснить, сможет ли графиня принять его сегодня после обеда, направился в библиотеку. Четыре или пять книг, которые Юстас Барнак читал одновременно, лежали одна поверх другой на столе рядом с креслом, в которое он бережно опустил свое грузное тело. «Дневники» Скаоуэна Бланта, второй том Содомы и Гоморры, иллюстрированная «История вышивки», последний роман Роналда Фербэнка... После недолгих размышлений он остановил свой выбор на Прусте. Обычно ему хватало десятка страниц любой книги, прежде чем овладевало желание сменить ее, но на этот раз он совершенно потерял интерес уже после шести с половиной и обратился к английскому разделу истории вышивки. Затем часы в гостиной пробили одиннадцать, а стало быть, настало время пройти в западное крыло дома, чтобы пожелать доброго утра теще.

Ярко накрашенная и одетая в элегантно сшитое на заказ канареечного цвета платье, миссис Гэмбл сидела в странной позе, потому что, пока ее французская горничная занималась маникюром правой руки, левой она ласкала своего игрушечного померанского шпица Фокси VIII, слушая, как компаньонка читает ей вслух «Раймонда» сэра Оливера Лоджа. Стоило Юстасу войти, как Фокси VIII спрыгнул с ее колена, бросился сначала к нему, а потом начал пятиться назад, заливаясь злобным лаем.

– Фокси! – прикрикнула на него миссис Гэмбл тоном почти таким же хрипловато-визгливым, как лай померанской собачонки. – Фокси!

– Наш маленький волкодав! – добродушно сказал Юстас, а потом, повернувшись к чтице, которая вынуждена была остановиться на середине фразы, добавил: – Прошу вас, не позволяйте мне прерывать себя, миссис Твейл.

Вероника Твейл подняла безупречной формы овал своего лица и посмотрела на него со спокойной проницательностью.

– Однако какое же удовольствие, – сказала она, – вернуться из мира всех этих призрачных теней и снова увидеть немного настоящей плоти!

Последнее слово она намеренно растянула, чтобы «пло-оть» успела обрасти нужным количеством мяса в соответствии со своим значением.

До чего же похожа на мадонну Энгра, отметил про себя Юстас, подмигнув ей. Мягкая и величавая, почти до воздушности легкая, она, тем не менее, выглядела сексуально... И быть может, чуть больше, чем требовали строгие пропорции.

– Боюсь, что плоти даже многовато.

Усмехнувшись, он похлопал по выпуклости своего жемчужно-серого жилета.

– И как себя чувствует сегодня утром наша Королева-мать? – спросил он, подходя к креслу миссис Гэмбл. – Как вижу, точит свои коготки.

Старуха ответила тонким надтреснутым смехом. Она гордилась своей репутацией женщины бездумно прямодушной и изощренно злой в остроумии.

– Ты – плут, Юстас, – сказала она, и визгливый старческий голос прозвучал с теми колючими и властными интонациями, которые делают речь столь многих богатых аристократов преклонных лет в чем-то пародийно похожей на команды армейских сержантов. – И что это за разговоры о плоти? – спросила она, переводя невидящий, но инквизиторский взгляд с того места, где должен был стоять Юстас, предположительно в сторону кресла миссис Твейл. – Ты снова набрал вес, Юстас?

– Должен признать, – ответил он, – что в стройности сильно вам уступаю, – и с улыбкой посмотрел сверху вниз на слепую и высохшую мумию, сидевшую перед ним.

– Где ты? – Миссис Гэмбл оставила одну руку в распоряжении маникюрши, а второй стала ощупывать воздух, пока не поймала полу его пиджака, а от нее пробежала пальцами по жемчужно-серому пузырю над брюками. – Бог ты мой! – воскликнула она. – А я и понятия не имела! Ты просто толстяк, Юстас, настоящий толстяк!

Ее тонкий голосок снова приобрел комичные сержантские интонации.

– Нэд тоже был тучным мужчиной, – продолжала она, явно мысленно сравнивая живот у себя под рукой с воспоминанием о брюхе покойного мужа. – Потому он и ушел от нас таким молодым. Всего в шестьдесят четыре. Ни один толстяк еще не дотягивал до семидесяти.

Разговор принял оборот, который Юстасу никак не мог доставить удовольствия. И он решил через шутку перевести беседу на более приятную тему.

– Зато вы в превосходной форме, – весело сказал он. – Но скажите, что происходит с толстяками, когда они умирают?

– Они не умирают, – сказала миссис Гэмбл. – Они покидают этот мир.

– Хорошо, что происходит, когда они нас покидают? – поправился он, интонационно поставив последние слова в кавычки. – В ином мире они остаются такими же тучными? Мне бы хотелось, чтобы вы задали этот вопрос во время следующего сеанса.

– Ты что-то стал излишне фриволен, – сурово одернула его Королева-мать.

Юстас повернулся к миссис Твейл:

– Так вам удалось наконец отыскать добрую ведьму?

– К сожалению, большинство из них говорят только по-итальянски, – ответила она. – Но зато леди Уорплесден указала нам на одну англичанку, которая, по ее словам, очень даже неплохо справляется со своими обязанностями.

– Я бы предпочла сильного, говорящего медиума, – сказала миссис Гэмбл, – но в путешествии приходится довольствоваться тем, кого посылает судьба.

Французская горничная беззвучно поднялась, перенесла свой стульчик и взялась за другую руку миссис Гэмбл, сняв ее с оранжевой шерстки Фокси и принявшись полировать ногти.

– Этот твой юный племянник приезжает сегодня, не так ли?

– Да, вечером, – ответил Юстас. – Мы можем несколько припоздниться к ужину.

– Мне нравятся мальчики, – изрекла Королева-мать. – То есть, конечно, в том случае, если они хорошо воспитаны, а это такая редкость в наши дни. Кстати, Вероника, это напомнило мне о мистере де Вризе.

– Он придет сегодня к чаю, – сказала миссис Твейл своим спокойным, размеренным голосом.

– Де Вриз? – удивленно спросил Юстас.

– Ты же познакомился с ним в Париже, – сказала Королева-мать. – На моем новогоднем приеме с коктейлями.

– Ах вот как! – неопределенно отозвался Юстас. На том приеме он случайно встретил еще тысяч пять разных личностей.

– Американец, – пояснила Королева-мать. – И я произвела на него большое впечатление. Ведь так, Вероника?

– Это несомненно, – сказала миссис Твейл.

– Постоянно приезжал навещать меня этой зимой. Постоянно. А сейчас он как раз во Флоренции.

– При деньгах?

Миссис Гэмбл кивнула.

– Производство готовых завтраков, – сказала она. – Но на самом деле его интересует наука и все такое прочее. Но, как я люблю повторять ему, с фактами не поспоришь, что бы ни думал ваш мистер Эйнштейн.

– И не только Эйнштейн, – сказал Юстас с улыбкой, – но еще и мистер Платон, мистер Будда, мистер Франциск Ассизский.

Странно хрюкающий, хотя едва слышный звук заставил его повернуть голову. Почти беззвучно миссис Твейл смеялась.

– Разве я сказал что-то смешное? – спросил он.

На бледный овал лица вернулось обычное выражение полнейшей серьезности.

– Я вспомнила нашу с покойным мужем глупую шутку, которая, тем не менее, нас очень веселила в свое время.

– Про мистера Франциска Ассизского?

Секунду или две она смотрела на него, прежде чем решилась:

– Франциск, а с сиськами.

Юстасу хотелось подробнее расспросить ее о муже, но, вспомнив, что тот умер сравнительно недавно, тактично воздержался.

– Если ты собираешься сегодня утром в город, – встряла миссис Гэмбл, – мне бы хотелось, чтобы ты взял с собой Веронику.

– Буду только рад.

– Ей нужно кое-что купить для меня, – продолжала старая леди.

Юстас повернулся к миссис Твейл:

– Тогда давайте и пообедаем вместе в «Беттиз».

Но Королева-мать сама отвергла это предложение.

– Нет, Юстас, мне нужно, чтобы она сразу же вернулась. Пусть возьмет такси.

Он бросил обеспокоенный взгляд на миссис Твейл, чтобы понять, как она восприняла подобный приказ. Но на спокойном лице мадонны Энгра не отразилось никаких эмоций.

– Да, я возьму такси, – повторила она ясным и ровным голосом. – Хорошо, миссис Гэмбл.

Через полчаса в неброском, но элегантном, сшитом на заказ черном платье Вероника Твейл вышла на освещенный солнцем двор. У подножия парадной лестницы стояла «Изотта» – огромная темно-синяя и явно очень дорогая машина. Но Пол де Вриз, подумала она, садясь внутрь, по меньшей мере не беднее мистера Барнака.

– Надеюсь, вы не будете возражать? – спросил Юстас, державший в руке уже вторую за день сигару.

Она подняла на него глаза, улыбнулась, не размыкая сомкнутых губ, и покачала головой; потом снова уперлась взглядом в свои обтянутые перчатками руки, свободно лежавшие между коленей.

Машина медленно покатила по дорожке среди кипарисов, которая за воротами переходила в крутое и извилистое шоссе.

– Из всех образцов в моей коллекции, – сказал Юстас, нарушая затянувшееся молчание, – Королева-мать представляется мне, вероятно, наиболее примечательным. Окаменевший скорпион из палеозойской эры почти в прекрасной сохранности.

Миссис Твейл улыбнулась, не отрывая взгляда от своих рук.

– Я не разбираюсь в геологии, – сказала она. – Но, между прочим, упомянутая окаменелость – мой работодатель.

– Это-то и удивляет меня больше всего.

Она вопросительно покосилась на него:

– Вы хотите сказать, что я должна держаться с ней как компаньонка?

Последнее слово – и это не укрылось от внимания Юстаса – было произнесено с легким нажимом, чтобы придать ему истинное значение, которое вкладывали в него сестры Бронте.

– Вот именно.

Теперь миссис Твейл окинула его открытым взглядом, оценивая чуть сдвинутую набок шляпу, превосходно сидевший жемчужно-серый костюм, галстук фирмы «Сулка», бутон розы в петлице.

– Ваш отец не был бедным священником из Ислингтона, – заметила она.

– Нет, он был воинствующим атеистом из Болтона.

– О, я сейчас думаю вовсе не о вопросах веры или неверия, – сказала она, улыбнувшись с легким оттенком иронии. – А о том, что ваша теща называет фактами.

– А конкретнее?

– К примеру, о постоянном ознобе от жизни в неотапливаемом доме. О чувстве стыда, что тебе приходится носить такую поношенную и старомодную одежду. Но в бедности заключалась лишь часть проблемы. Ваш отец не пытался осуществлять христианские добродетели на практике.

– Напротив, – сказал Юстас, – он занимался благотворительностью почти профессионально. Общественные фонтанчики с питьевой водой, больницы, клубы для мальчиков из малообеспеченных семей и все такое.

– Да, но он всего лишь жертвовал деньги, чтобы его имя значилось на дверях. Ему не приходилось работать в этих чертовых клубах.

– А вам приходилось?

Миссис Твейл кивнула:

– С тринадцатилетнего возраста. А когда мне исполнилось шестнадцать, мне приходилось проводить там четыре вечера в неделю.

– Вас принуждали к этому?

Миссис Твейл пожала плечами и не сразу ответила. Она вспоминала отца – эти блестящие глаза на лице чахоточного Феба, это длинное тощее тело с впалой грудью. А рядом с ним стояла ее мама, маленькая и хрупкая, которая, однако, помогала выживать этому совершенно беспомощному в житейских делах, не от мира сего мужчине; крохотная птичка, уподобившаяся Атласу и державшая на себе всю материальную тяжесть вселенной.

– Есть такой прием, как моральный шантаж, – сказала она. – Если окружающие тебя люди настойчиво пытаются жить как ранние христиане, у тебя тоже не остается выбора, верно?

– Признаю, выбор действительно невелик.

Юстас вынул сигару из уголка рта и выпустил облако дыма.

– Это одна из причин, – добавил он с усмешкой, – почему так важно избегать общества добрых людей.

– Одной из таких стала для меня ваша падчерица, – сказала миссис Твейл после некоторой заминки.

– Кто? Дэйзи Окэм?

Она кивнула.

– А, так значит, вашим отцом был тот, как бишь его, каноник, о котором она постоянно твердила.

– Каноник Крессуэлл.

– Точно – Крессуэлл. – Юстас просиял, глядя на нее. – Могу только сказать, что вам нужно непременно послушать, как она о нем отзывается.

– Слышала, – сказала миссис Твейл. – И не раз.

Дэйзи Окэм, Дотти Фрибоди, Ивонна Грейвз – святые женщины. Одна толстушка и две худышки. Миссис Твейл еще в юном возрасте однажды изобразила на рисунке, как они втроем сидят у подножия креста, на котором группа бойскаутов распинает ее отца.

Юстас снова нарушил молчание, но на этот раз смехом, предметом которого была его падчерица и отчасти каноник Крессуэлл. В данном случае он не видел родственной жалости, которая могла бы его сдержать.

– Все эти ее утопические благие намерения! – сказал он. – Но, конечно, – добавил он уже с долей сострадания, – у бедняжки не оставалось альтернативы после того, как она потеряла и мужа, и сына.

– Но она занималась благотворительностью и прежде, – сказала миссис Твейл.

– Тогда воистину нет ей прощения! – воскликнул он.

Миссис Твейл улыбнулась и помотала головой. Потом она вдруг сама призналась ему, что именно Дэйзи Окэм познакомила ее с миссис Гэмбл.

– Редкостная удача! – произнес Юстас.

– Но в ее доме я еще и встретила впервые с Генри.

– С Генри? – переспросил он.

– Так звали моего мужа.

– Ах да, конечно!

Снова наступило молчание, пока Юстас сосал кончик сигары и старался припомнить, что Королева-мать рассказывала ему о Генри Твейле. Партнер в юридической фирме, которая занималась ее делами. Очень приятный, с отменными манерами, но умерший от прободения аппендикса в возрасте всего... Сколько же ему было лет, по словам тещи с ее вечно извращенной точностью в подобных вопросах? Тридцать восемь, так, кажется. Значит, он был лет на двенадцать или даже четырнадцать старше жены.

– Сколько вам было лет, когда вы вышли замуж? – спросил он.

– Восемнадцать.

– Идеальный возраст для замужества, по мнению Аристотеля.

– Но не по мнению моего отца. Он хотел бы, чтобы я года два повременила с этим.

– Отцы и не должны торопить своих юных дочерей к алтарю.

Миссис Твейл снова посмотрела на свои руки и вспомнила их медовый месяц и летние каникулы на берегу Средиземного моря. Они плавали, до одури плавились под ярким солнцем, проводили долгие часы сиесты в аквариумном полусвете спальни с зелеными шторами.

– Меня не слишком опечалила его кончина, – отозвалась она, не поднимая глаз.

Воспоминания об этих доведенных до крайности наслаждениях, о полном бесстыдстве и забвении приличий вызывали в ней внутреннюю улыбку. «Глухую к зову плоти, я научил тебя любить»²¹. И к цитате классика Генри непременно добавлял собственное мнение, что она была способной ученицей. Но и он был хорошим учителем. Что, к сожалению, не мешало ему обладать отвратительным характером и проявлять чрезмерную скупость.

– В таком случае, – сказал Юстас, – могу только порадоваться, что вы обрели свободу.

Какое-то время миссис Твейл хранила молчание.

– После смерти Генри, – сказала она, – все шло к тому, что я вернусь туда, откуда явилась.

– К бедным, но добрым?

– К бедным, но добрым, – эхом повторила она. – Но, к счастью, миссис Гэмбл нуждалась в ком-то, кто бы читал ей вслух.

– И теперь вы живете с богатыми, но недобрыми, так получается?

– Да, я паразитирую, – спокойно признала миссис Твейл. – Состою чем-то вроде почетной горничной при старой леди... Но здесь вставала проблема выбора из двух зол.

Она открыла свою сумочку, достала платок и, приложив к носу, вдохнула ароматы цибетина и цветов. В доме отца вечно стоял запах капусты и пудинга на пару, а в клубе для девочек... Там и пахло девочками.

– Лично я, – сказала она, – предпочла быть нахлебницей в таком доме, как ваш, чем в своем доме стать... Кем я могла бы там стать, имея доход шиллингов пятьдесят в неделю?

Снова наступила короткая пауза.

– Оказавшись в вашем положении, – сказал потом Юстас, – я скорее всего сделал бы такой же выбор.

– И вы бы меня не удивили, – таков был комментарий миссис Твейл.

– Но я бы сумел поставить себя...

– Поставить себя способны только те, кто располагает для этого средствами.

– Даже рядом с ископаемыми скорпионами?

Миссис Твейл улыбнулась:

– Ваша теща предпочла бы громко говорящего медиума. Но даже ей приходится довольствоваться тем, кого она может найти себе.

²¹ Дж. Донн. Элегия VII.

– Даже ей! – повторил Юстас с сиплым смехом. – Но должен сказать, ей очень повезло, когда она нашла вас. Согласны?

– Не так повезло ей, как мне самой.

– А если бы вы не обрели друг друга, что тогда?

Миссис Твейл пожала плечами:

– Возможно, я смогла бы немного подрабатывать книжными иллюстрациями.

– Так вы рисуете?

Она кивнула:

– Втайне от всех.

– Почему же втайне?

– Почему? – переспросила она. – Отчасти в силу привычки. Вы должны понимать, что мои занятия рисованием не слишком поощрялись в родительском доме.

– По каким причинам? Эстетическим или этическим?

Она улыбнулась и пожала плечами:

– Кто знает.

Однако миссис Крессуэлл была настолько неприятно поражена и расстроена, обнаружив альбом с карандашными набросками дочери, что три дня провалялась в постели с приступом жуткой мигрени. После этого Вероника уже ничего не рисовала, кроме как запершись в туалете и на листке бумаге, который не грозил засорить унитаз.

– А кроме того, – добавила она, – иметь свой секрет замечательно само по себе.

– Разве?

– Только не говорите, что у вас по этому поводу такие же взгляды, какие были у моего мужа! Генри непременно стал бы нудистом, родился он десятью годами позже.

– Но вы бы нудистской не стали никогда, хотя и родились десятью годами позже?

Она энергично помотала головой:

– Я бы даже не стала составлять списка для прачечной, если бы кто-то находился рядом. Но Генри... Дверь его кабинета никогда не закрывалась. Никогда! Мне делалось плохо при одном взгляде на него.

Она немного помолчала.

– В начале каждой литургии читают одну ужасную молитву, – продолжала она. – Вы ее знаете. «Боже всемогущий, для кого открыты все сердца, кому известны все наши желания и от кого невозможно ничего утаить». Это действительно ужасно! И я делала рисунки на эту тему. Именно они больше всех остальных расстроили мою маму.

– Охотно верю, – сказал Юстас, усмехнувшись. – Но вам как-нибудь следует непременно показать некоторые из своих работ мне.

Миссис Твейл испытующе посмотрела на него, а потом отвела глаза. Несколько секунд никто из них не произносил ни слова. А затем медленно и тоном человека, который обдумал вопрос и пришел наконец к решению, она ответила:

– Вы – один из немногих, кому я не против показать их.

– Это мне льстит, – сказал Юстас.

Миссис Твейл снова открыла сумочку и из ее ароматных глубин извлекла кусок бумаги размером в половину тетрадного листа.

– Вот то, над чем я работала утром.

Он взял листок и вставил в глаз монокль. Рисунок был выполнен чернилами и, несмотря на малые размеры, отличался тщательной проработкой деталей. Профессионально, но отталкивающе претенциозно. Он вгляделся пристальнее. На рисунке была изображена женщина, одетая в подобающе строгое, хотя и великолепно сшитое по моде платье, которая с молитвенником в руке шла по центральному проходу церкви. Позади себя на веревочке она тянула магнит в форме обычной подковы, но выведенный так, что он напоминал

два бедра, обрубленных у коленей. На полу чуть в стороне от женщины лежало огромное глазное яблоко размером с тыкву, чей зрачок был уставлен в тянувшийся все дальше магнит. Из этого безумного глаза росли две похожие на червей руки, длинные пальцы которых ногтями цеплялись в пол. И таким сильным было притяжение, встречавшее не менее мощное сопротивление, что ногти оставляли на каменных плитах заметные борозды.

Юстас приподнял левую бровь, позволив моноклю выпасть из глаза.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.